

И. Ю. КОБЗЕВ

СТАРИК В ПЕЙЗАЖЕ

**(Роман – странствие
или
Философское путешествие)**

České Budějovice

2015

Посвящаю роман моей любимой жене

И.К.

*«Каждый пишет... как он дышит»
(Булат Окуджава)*

Глава первая: «Обратное плавание»

1

*«Философия – это обратное плавание»
(Платон)*

Старики болтливы. Даже те, которые молчаливы, - они без умолку болтают в своей голове, в соответствии с тезисом Ноама Хомского о том, что речь это побочный эффект мышления. Старик пытается заговорить приближающееся небытие и, может быть, найти оправдание старости в ходе этого разговора. Однако очень трудно превратить отброс бытия в наполненное тайным смыслом явление. Трудно, но можно – на то ведь и существует опыт прожитой жизни. Какие только поражения мы не превращали в победы своими рассказами! Так почему бы не поговорить о старости?

Старость плохо описуема потому что представляет собою пространство обратной перспективы по отношению к молодости. Что такое обратная перспектива, Вы спрашиваете? Почитайте Флоренского – это он обнаружил и ввел в культурный оборот сей странный феномен. Все знают что такое прямая перспектива - этому нас научили художники Ренессанса. Это когда ты как бы стоишь у окна и смотришь на пейзаж, раскрывающийся перед тобой: убегают вдаль деревья, столбы вдоль дороги, все сжимается и съезживается, влипая в точку схождения линий. А самый большой объект в этой картине – это ты сам, зритель, ты так велик, что даже не помещаешься в картину, ты находишься вне ее, как ее демиург, почти ее автор. Во всяком случае, ты занимаешь место автора, потому что художник, когда рисовал эту картину, стоял на том же самом месте и видел все так же, как видишь ты сейчас. Но в обратной перспективе иконописи зрителем и автором оказывается изображенный на иконе Лик – это Он смотрит из своего вневременья на мир, расстилающийся перед ним и на тебя, зрителя, затерявшегося в этом мире как один из многих его обитателей. Ты мал вместе с остальными предметами и существами на переднем плане иконы, а лик святого – огромен на ее заднем плане. Икона это тоже окно, но окно, в которое Лик смотрит на тебя. Вот это и есть обратная перспектива. Непонятно?

Тогда по-другому. Старость – это как обратная задача рассеяния в физике. Прямая задача проста и решается, в ней положение рассеянных на перпятствии частиц

однозначно выводимо из места и времени столкновения исходных частиц с препятствием. Но обратная задача – это практически неразрешимая сложность «договоренности» между частицами в некоторый момент времени после их рассеяния с тем, чтобы они одновременно повернули на сто восемьдесят градусов и сошлись в исходном месте в прошлом, двигаясь вспять во времени через то же препятствие. Почему частицам невозможно «договориться»? А потому что каждой нужно помнить свою траекторию, которая привела ее в эту точку, а тут старость - склероз Альцгеймера. Каждой нужно точно знать свое положение в данной точке, а тут старость - тремор Паркинсона. Вот и получается по Экклизиасту: разбрасывать камни легко, а собрать их практически невозможно. Но именно эта задача и отличает старость от молодости. Именно ее решение и образует обратную перспективу старости или, как говорил Платон, – «обратное плавание», обратное по отношению к мейнстриму молодости. Наверное Платон придумал этот термин, когда возвращался на родину из Сицилии, где он с присущим молодости пылом пытался создать идеальное государство философов и где его продал в рабство тиран Дионисий. Он плыл собирать свои камни в священной роще Академии. И, кстати, ему это удалось.

Забавно, что именно в молодости, когда человека несет как щепку в потоке времени, он более всего склонен считать себя автором своей судьбы. Он еще не знает, что автором судьбы можно стать только выйдя из этого потока. Это открытие сделал великий литературовед Бахтин. Он назвал его «авторской позицией внаходимости». Мне кажется, что это открытие он совершил, наблюдая как следователь НКВД «шьет его дело», занимая при этом «авторскую позицию», скрытую от подследственного героя ярким светом настольной лампы, бьющим в глаза.

А другой литературовед, Виктор Шкловский, придумал для этого волшебный термин «остранение», в котором слились «странность» и «сторонность» позиции того, кто претендует быть автором. Быть может, это слово родилось в его сознании, когда он сыпал сахар в бензобаки машин бронедивизиона гетмана Скоропадского, который и назначил Шкловского командиром дивизиона. «Засахаренные» броневики тогда не вышли из гаража на бой с Петлюрой.

Странность автора состоит в том, что он сам себя не видит и ничего не может сказать о самом себе. Чтобы все-таки что-то сказать о себе, автору нужно сочинить себя героем своего повествования и уже о нем рассказывать. Но это конечно будет не сам автор, а его литературный двойник. В топологии есть теорема, утверждающая, что тело можно разрезать на части и сложить из этих частей тело большего объема – именно это и проделывает автор с собою при попытке честно описать свою жизнь. Получается совсем другое тело, состоящее вроде бы из тех же самых частей прожитой жизни. Так что не верьте автору, когда он говорит о себе, – он врет. Он обречен на ложь, потому что иначе он не может сказать о себе ни слова.

Не врет, а сочиняет, говорите Вы? - А какая разница? Результат один – «пещера Платона индивидуального пользования» или миф о себе и своей жизни, который сочиняет каждый старик, совершая обратное плавание в потоке прожитого времени. Помните у Платона образ пещеры и теней на ее стене, которые созерцает узник, думая, что видит реальный мир. Главное что и себя самого он не видит, считая самым собою тень, которую он отбрасывает на стену пещеры. У каждого из нас своя «пещера Платона». Но есть и «пещера Платона» коллективного пользования – ее мы называем культурой. Это ложь, ставшая высоким искусством. В нем и обитает образованное человечество. Это наша экологическая ниша, к которой мы приспособлены и вне которой мы не можем существовать как люди. Это наш рай, «от века дремлющий в нас», как сказал поэт Юргис Балтрушайтис.

А что такое рай? Вы видели когда-нибудь изображение рая на фресках какого-нибудь европейского собора? А ада? Сравните их – разница сразу же бросается в глаза: если ад всегда очень реален и понятен, то рай оставляет впечатление чего-то болезненно странного и непонятного самому художнику. На что похож этот живописный рай? Взгляните, например, на картину Иеронима Босха «Сад земных наслаждений» – это же сумасшедший дом на прогулке! А все почему? А потому, что художник пытается изобразить его в той же логике действия, что и ад. Это «прямая перспектива» или «прямое плавание», но рай – это «обратная перспектива» или «обратное плавание».

Точнее, уже не плавание, а сидение на берегу и созерцание реки жизни. Ведь чтобы плыть против течения, нужно выбраться из сремнины поближе к берегу – там в маргинальных заводях кружат обратные течения, попутные нашим усилиям. Но будучи так близко к берегу, не лучше ли вообще вылезти из воды и в покое насладиться красотой искрящейся на солнце реки. Перестать быть автором даже обратного плавания, оставить деятельность усердным работникам ада и осознать, что рай – это надеяние, это созерцание красоты, у которой иной Автор. Это созерцание мира Божьего как пейзажа, наслаждение красотой пейзажа! Как странно, что понял это не какой-нибудь великий живописец вроде Микеланджело или Леонардо, а старый политик Уинстон Черчилль – он сказал незадолго до смерти: «Когда я попаду на Небеса, то первый миллион лет я буду рисовать пейзажи».

Правильный старик ощущает себя одновременно зрителем и элементом божественного пейзажа. Это и называется жить в обратной перспективе. Это цель обратного плавания Платона. Поплывем?

2

*«Куда ж нам плыть? . . .»
(А.С. Пушкин)*

Как куда? Конечно в Венецию! Чистый, прохладный поток альпийского воздуха выносит меня из ущелья Доломитов в теплую дымку болотных испарений венецианской лагуны. Это знак присутствия близкого моря в воздухе паданской равнины. Эту дымку итальянские живописцы назвали «сфумато». В этой дымке растворен горизонт, а за горизонтом в блеске моря растворена сама Венеция. Венеция – это бутылочное горлышко Средиземного моря. И она же - бутылочное горлышко в толщу истории.

Венеция напоминает китайский шар — искусную головоломку, состоящую из нескольких концентрических сфер, каждая из которых вырезана из той же самой части материала что и предыдущие. В такой игрушке может быть от трех до семи концентрических шаров. Каждый сферический слой – это время прошлого, это ушедшая эпоха, в которую мы заглядываем через дырочки в верхнем слое. Венеция вся состоит из таких дырочек: здесь за любым поворотом мы можем оказаться в совершенно другом времени. Венеция – это единое произведение искусства, вырезанное на протяжении столетий из единого куска истории. Здесь за каждым углом открывается вечный пейзаж, частью которого ощутит себя пешеход. Рыбий жир каналов ломает отражение солнечной дымки и глубоких сырых теней. Пахнет тиной и морем. Каждый поворот головы – это пейзаж Каналетто или Гварди. Каждый пейзаж – это и сейчас, и триста, и пятьсот лет назад. Венеция – это всегда.

Все времена и эпохи Венеции удерживаются в вечности одним якорем - мощами святого Марка. Это самый внутренний шар венецианской головоломки. Его обнимает внешний шар собора Святого Марка, на который надета Венеция времен Вивальди. Но если заглянуть в дырочку входа в собор, то провалишься на тысячу лет назад - в храм Двенадцати Апостолов в Константинополе, в византийское «небо на земле». А посреди этого пространства золотой пыли стоит рака с мощами Святого Марка - окно в мир древней Александрии. Я подхожу к ней и вздрагиваю от неожиданности, услышав свой голос:

- Приветствую тебя, Великий царь!

- Как ты узнал меня? Кто ты?

- Незримый путешественник,

- А-а..., тоже незримый. Тогда понятно... Куда путь держишь?

- Обрато к себе,

- Трудный путь. Я его смог пройти только за тысячу лет. Но он того стоит,

- Это труднее, чем завоевать пол-мира?

- Чего стоит завоевание, которое рассыпалось через два года после смерти властителя?

Если бы не Птолемей, вся моя жизнь пошла бы прахом. Он истинно мудрый муж – он сумел в одном городе создать то, что я мечтал устроить во всей Ойкумене,

- Ты имеешь в виду Библиотеку и Мусей?

- Я имею в виду гомонойю – равенство облагороженных разумом людей со всех концов Ойкумены. В Александрии я наблюдал воплощение этого идеала с высоты своей гробницы на протяжении полутысячелетия. Какие люди, какие идеи – вот что по настоящему завоевало мир!

- Разве не новое варварство завоевало Александрию?

- Ты прав, и этому я тоже был свидетелем. Людей библиотеки уничтожили люди одной Книги. Точнее толпы черни, которые вообще не знают книг, но направляемы обладателями единственной истины. А истина, которая овладевает чернью, оставляет после себя руины цивилизации,

- Ты имеешь в виду епископа Кирилла? Но говорят, что он не причастен к уничтожению книг Серапиума, к гибели Ипатии,

- О, сам-то он, конечно, не рвал ее на куски, но вздохнул с облегчением, когда узнал о ее гибели – хороший урок всем умникам! А потом он придумал и меня использовать во имя своей истины – назначил меня евангелистом Марком,

- Как это, назначил?

- Могила его не сохранилась, а тут понадобились святыи мощи для поклонения толпы. Это языческий Серапеум был хранилищем книг, а новые храмы стали хранилищами святых мертвецов. И мощей для них хронически не хватало. А тут я, язычник, лежу в своей гробнице, мозолю глаза Кириллу и всей его благочестивой черни. Вот он и придумал солгать во имя истины и с пользой для дела использовать мою мумию. Двух зайцев убил: и языческую гробницу разрушил и мощи святого обрел. С тех пор я и стал работать святым Марком в христианском храме,

- И как оно?

- Привык и смирился за полторы тысячи лет. Сколько я за это время перевидал людей с их горестями и печальями! Я ведь когда завоевывал мир, людей не замечал. Передо мною проходили армады войск и тьмы народов, все на одно лицо вроде рыбьей икры. А тут приходил человек за человеком, и каждый просил помочь именно ему, ну я и помогал как мог. За этим морем человеческого страдания мои прижизненные походы и победы так измельчали, что мне и вспоминать о них было странно и стыдно. Вот это и стало для меня обратным плаванием в моей судьбе,

- Это оно привело тебя в Венецию?

- Конечно! В Александрию пришли люди новой Книги – тоже истинной и единственной, и спалили остатки Библиотеки за ненадобностью. Их вождь провозгласил, что нет смысл в книгах, отличающихся от их Книги. А потом они стали добывать камень из церквей для строительства своих мечетей – повторилась история с языческими храмами. Так что и моему пристанищу стала угрожать опасность. А тут из Венеции приплыли удалые купцы с заданием от своего дожа добыть для города мощи святого покровителя. Купцы предложили хранителям моих мощей такие деньги, от которых те не смогли отказаться, и они вывезли меня на своем корабле, заваленного свиными тушами чтобы отпугнуть мусульманскую таможню. Так я оказался в Венеции, где и служу по мере сил до сих пор,

- Кем? Святым Марком?

- Не только! Я и о гомонойе не забывал: при мне Венеция обрела Падуанский университет, который продолжил работу моего Мусейона и Библиотеки. Александрийских мудрецов Архимеда, Гипарха, Эратосфена, Евклида сменили славные падуанцы Коперник, Галилей, Везалий, Николай Кузанский. Нить познания не была оборвана варварством – Аристотель мог бы гордиться своим учеником,

- Как же ты не уберег эту новую Александрию от завоевания?

- Ты имеешь в виду этого маленького корсиканца, который попытался натянуть на себя мою судьбу? Он был тут у меня, стоял перед ракой и так громко мечтал о судьбе великого Александра, что я расхохотался. Он был чуткий человек и почувствовал мой смех. Но гнев свой он обрушил на бедного еврея Марка и опекаемый им город. Так пала Венеция. А корсиканец получил то, что просил – мою судьбу: через год он отплыл в Александрию и пошел по моим стопам через Газу в Сирию, мечтая об Индии. Напыщенный коротышка не учел только одного – нельзя получить только часть судьбы, ту часть, которая нравится. Судьба прививается целиком. И он сполна почувствовал это, когда уходил из России, как я из Индии. Не знал он и о том, что у судьбы есть скрытая часть – трудное обратное плавание, которое длится много дольше, чем быстропроходящая мирская слава. Теперь он, конечно, это узнал,

- А ты узнал за время своего служения где истина – в Книге или в библиотеке?

- Истина в Нем, который и есть истина, и путь, и жизнь. Он мог быть Истиной, потому что был сыном Божиим. А чернь от обладания Истиной звереет, поэтому нужна библиотека, чтобы из черни сделать людей, способных выдержать бремя Истины,

- Благодарю тебя, Великий царь!

- Не называй меня так, - я всего лишь смиренный апостол Марк, Его ученик. И таковым останусь уже навсегда,

- Гелиайне, царь! Хайре, Марк!

- Храни тебя Христос в твоём странном путешествии!

Я вышел из золотого сумрака собора в яркий полдень пейзажа Каналетто. Пересек площадь Сан Марко и сел у кромки воды. Волны тихонько плюхались о камни набережной. Стадо гондол вскидывало узкие головы, подплясывая на волнах. Они бежали сюда из дали Средиземного моря, быть может от самой Александрии. Солёный бриз остро пах водорослями и доносил до слуха шепот Дягилева с кладбища Сан-Микеле: «В Венеции нельзя жить, в ней можно только быть».

«А в России что, по-другому что ли?» – подумал я...

*«Пахнет свежим воздухом навоз»
(Борис Пастернак)*

- У нас на Руси жити тяжко зело, а быти и вовсе невозможно, если, конечно, ты не Великий князь еси или митрополит...

Я оглянулся - передо мной расстилалась картина Юона «Троице - Сергиева Лавра зимой». Монастырь походил на стол, беспорядочно заставленный пасхальными куличами. Над ним низко нависала свинцовым брюхом туча. На ее фоне кружилась огромная стая ворон, оглушая окрестности непрерывным граем. Сквозь этот шум мягко проникал до самых внутренностей бархатистый гул колокола – звонили к обедне. Вся окрестность была покрыта снегом – рыхлым, весенним, насыщенным водой. Я стоял на дороге, ведущей к воротам Лавры. Упругий ветер был насыщен пьянящим запахом протаявшей земли и конского навоза, дымившегося в наезженных телегами колеях. Передо мной стоял опираясь на посох старик-чернец в монашеском одеянии и тулупе, в стоптанных сапогах и с похожей на блюдо огромной белой бородой, закрывающей всю верхнюю часть его тела от плеч до пояса. В глазах его сверкали лукавые искорки, по которым можно было догадаться, что где-то под этой бородой скрывается улыбка. Я поздоровался с ним.

- Христос с тобой! К преподобному Сергию, я чай, идешь поклониться? Небось из Москвы? Я так и подумал. Меня Максимом величают, по прозвищу Грек, хотя я сам из Венеции, с Корфу...

Ворона, недоверчиво следившая за нами с обочины дороги, отчетливо повторила: «Корфу! Корфу!»

- Знаешь? Бывал? Ты, я вижу человек книжный... А по глазам вижу. Будь добр, милчеловек, проводи старика до монастырских ворот, а то ног совсем не чую. Холодно, зело холодно! Никак не привыкну, а ведь я, почитай, уже сорок лет на Руси живу... А может и не живу, а так только... к себе собираюсь. Как ты сказал – «обратное плавание»? Да ты и всемудрого Платона читал? Ты философ?! Видно в награду за все мои страдания послал мне Господь перед близкой кончиной мужа-философа для утешительной уму беседы. Ибо воистину более мне представляется в этой жизни творящим благо философ-муж, нежели царь справедливый. Тем паче, что мне, многогрешному, так и не дано дожидаться ее, царской справедливости. Вот уже третьего Великого князя молю вотще отпустить меня обратно на Афон. Нет на то Божией милости... А может это и есть Его промысел обо мне, дабы на русском холоде сподобился я наконец мысль от плоти обуздати. Пошто так глядишь? – Я ведь не всегда иноком был, и в молодости много вкусил от плотских утех и умственных прельщений. Звали меня тогда Михаилом. Было это во Флоренции при тамошнем князе Лоренцо по прозванию Великолепный. И был я секретарем у философа Пико Мирандолы. Он вместе с другим философом и поэтом – Фичино создал Платоновскую академию на вилле Фичино. Это было вольное общество людей, пивших «вергилиевой чашей из Платонова источника», как говаривал Фичино. А я им эту чашу наполнял - переводил Платоновские сочинения с греческого, потому что по-гречески никто из них не разумел. Все мы были тогда пьяны этим вином Платоновым, все мы были поклонники красоты, музыки небесных сфер, любви и чаяли обновления нашей веры через небесную Афродиту-Уранию. Один из нас - живописец Боттичелли нарисовал ее так, что я плакал от умиления, когда смотрел на нее. Знаешь? Видел? – тогда ты легко поймешь меня. Эта картина стала нашей хоруговью, а «Декамерон» Боккаччо стал нашим священным писанием, постепенно поражая наши сердца сластолюбием. Но мы не замечали сего,

объятые бесовским наваждением. И тогда Бог послал нам святого старца Савонаролу, и тот отверз нам очи на наши грехи. Я вдруг понял, что наша академия – это суетное мудрствование плотолюбцев, которое уводит нас прочь от Бога. После проповеди старца Боттичелли сам своими руками сжигал свои картины на площади... А потом на той же площади по указу римского папы сожгли самого Савонаролу как еретика. И для меня мир рухнул. Все потеряло смысл и я решил уйти от мирской жизни. Я уехал на Афон и принял постриг, с тех пор именуюсь Максимом... Афон меня излечил. Слыхал ли ты об исихии? О, и о том тебе ведомо! Да, это умная молитва в молчании. Ах, как благостно было это молчание в полуденном зное под оглушающий стрекот цикад и мерный шум прибоя. Я отрекся от философии, от искусства, от всех прельщений своей молодости. Так я думал. Но Господь иное видел в сердце моем. И вот братия послала меня в Москву к Великому князю Ивану переводить Псалтирь. Думал, что на год-два, а оказалось, что на всю жизнь. Как говорят на Руси: «Человек предполагает, а Бог располагает»... Обрусел? А потому что срок отсидел: на Руси дабы иноземцу русским стати, должно ему лет пять в темнице быти. А я много более в монастырских узилищах провел. И морили меня и дымом, и морозом, и голодом... За что? Вестимо за что – турецкий шпион я и вредитель к тому же – книги богослужебные портил. Вот и отрубил четверть века в затворе, пока по милости митрополита Макария не перевели на покой сюда, в Лавру... И вот только здесь, молясь у раки преподобного Сергия и возведя очи свои к иконе Святой Троицы, я вдруг понял, что все, о чем мы когда-то говорили в Платоновской академии, все это тоже истинно: и красота, и любовь и гармония мира. Только мы не дотянулись до этой истины, ибо оковы тяжкие нас к земле тянули. А оковы эти сиречь сластолюбие, славолубие и сребролюбие. Душа же укрошается нестяжательским житием – вот инок Андрей Рублев и сподобился божественной Истины и смог ее изобразить... Ты когда у раки преподобного стояи будешь, посмотри неспешно на эту Троицу и узришь как Она затягивает тебя внутрь бытия Божия, и пребывая в нем, тебе нечего сказать, кроме «Слава тебе, Господи!». Это есть истинный конец философии – перед этой иконой и сам Платон умолк бы в благоговении... Я тебе вот что скажу: русские люди всегда живут аки перед концом Света. Поэтому живут убого, беспорядочно, но вельми жаждут разрешить последние вопросы бытия до того, как настанет этот конец. Я думаю, они и впредь так жить будут, во все времена. Такой уж это дивный народ - уязвленный вечностью. А инок Андрей сумел изобразить то, что удерживает этот народ на краю бездны. Как только отвернется народ от этой красоты и гармонии, так и свалится в бездну адову. А пока он созерцает ее, никакой ад ему не страшен... Вот для того-то Господь и послал меня на Русь со святого Афона, дабы я увидел Троицу Рублева и понял, что красота есть ипостась истины, поэтому уничтожать искусство, как призывал неистовый праведник Савонарола, - это грех. Созерцание красоты – это пребывание в гармонии с миром Божьим, или соответствие эйдосу Платона, если говорить философски. Ну да о гармонии лучше у Пифагора спросить, - старик повернулся ко мне и в его глазах опять сверкнули лукавые искорки, - Я ведь догадался, кто ты еси, а потому полагаю, что и с Пифагором ты сможешь поговорить. Ну а коли уж мне дано было с тобой разговаривать, стало быть кончина моя близка. Пойду в собор на службу, причащусь Святых Тайн. А тебе вон туда, прямо, в церковь Святой Троицы... Бог благословит, - Максим Грек, опираясь на посох, медленно побрел к паперти собора. Немного отойдя, он оглянулся и сказал – Если Грецию увидишь, поклонись от меня святому Афону, - глаза у него затуманились, а может это у меня навернулись слезы... Я подождал пока он войдет в храм, потом повернулся и решительно зашагал к воротам. По раскисшей дороге вышел в заснеженное поле и, проваливаясь по колена в мокрый снег, двинулся на юг – в Грецию...

*«Шелест и блеск Эгейского моря,
Йодом и солью пахнет прибой,
Грохот цикад в одуряющем зное –
Все свое ношу с собой...»*

(И.К.)

Море подо мной блестит убаюкивающим серебром. В это серебро запустила три своих хищных пальца Халкидика. Третий палец - это Афон. На его вершине спит ангел, притворившийся облаком. А может быть так выглядит омофор Пресвятой Богородицы, под которым в тихом и безмолвном житии дожидаются конца света православные иноки. Я посылаю им мысленный привет от старца Максима и направляюсь дальше на юг в сторону турецкого берега. Где-то там прилепился к нему похожий на рыбу остров Самос. На брюхе этой рыбы смутно белеет город Пифагорейя. Недалеко от него находятся развалины храма Геры. Луна ярко освещает его цоколь и остатки колонн. У одной из колонн я заметил призрачную фигуру в хитоне, сотканном из лунного света. В теплом воздухе, напоенном ароматом лаванды, звенят цикады. Легкий предутренний ветерок прошуршал по высохшей траве, - я приблизился к призраку. Как я и ожидал, это оказался Пифагор. Он повернул ко мне голову и спросил:

- Ты бог или посланец богов?

- Не более, чем ты,

- Тогда зачем ты тревожишь меня в такую ночь?

- Меня мучают вопросы, на которые ответ можешь дать только ты, мудрейший Пифагор,

- Ты полагаешь? Дураку легче задать сто вопросов, чем мудрецу ответить на один из них,

- Но мудрец может задать вопрос, который никогда не придет в голову дураку,

- Неплохо! Я готов выслушать тебя. Спрашивай!

- Если все вещи суть числа, то что есть красота?

- Это отношение между числами,

- Всего лишь?

- Это кажется, что просто, когда смотришь на число со стороны. А когда ты сам есть число? Как одно число воспринимает другое число изнутри себя самого, своими глазами, в своем собственном разуме?

- Как?

- Если бы у додекаэдра были глаза, он увидел бы, что икосаэдр прекрасен. И может быть вспылал бы любовью к икосаэдру!

- «Любовь к икосаэдру» - хорошее название для комедии в театре,

- Не спеши смеяться. Это только кажется нелепым, потому что эти тела слишком просты по сравнению с нами. Но мы-то тоже представляем собой полиэдры, только очень сложные. Такие сложные, что записать их числами невероятно трудно и неудобно. А вот изобразить красками на картине так, чтобы зритель восхитился красотой женского тела, и проще и удобнее,

- Значит художник способен на то, до чего не дотягивается математик?

- Пока да. Но кто знает, на что станет способна математика через века,

- Ты прав, мудрейший, сейчас математика уже способна изобразить такие узоры, перед которыми бледнеют цветы и травы природы,
 - Вот видишь, именно это я имел в виду,
 - Можно ли сказать, что красота – это гармония между телами или между числами?
 - Именно так! Космос представляет собой такую гармонию, которая звучит как музыка. И эта гармония вечна. Хаос же преходящ, хаос – это просто смена гармоний. Хаос подобен волне, которая стирает нарисованный на песке прекрасный треугольник, чтобы я мог нарисовать на том же месте не менее прекрасный квадрат или круг,
 - Так сон стирает в памяти впечатления дня, чтобы память наполнилась новыми впечатлениями,
 - Или чаша доброго вина очищает наш разум от умственной усталости. Ум должен быть готов для восприятия новой красоты и истины,
 - Тогда скажи мне, мудрейший Пифагор, где находилась или будет находиться твоя математика и музыка, когда не было или когда уже не будет в Ойкумене ни математиков, ни музыкантов, способных к их восприятию?
 - В гармонии Космоса. Она проявляется в музыке небесных сфер. Идеальные формы чисел и гармония между ними существуют в вечности – это и есть математика и музыка. Она звучит в лире Аполлона, бога искусств и соразмерности. И каждый раз, когда математик работает с числами или когда художник творит красоту – они оживляют эти идеальные формы в нашей Ойкумене. Она уподобляется вечному Космосу - гармония распознает гармонию. Ойкумена существует своими творцами! Поэтому наш мир не должен оскудевать художниками, музыкантами и математиками,
 - То есть, прав Достоевский: «Красота спасет мир»?
 - Я бы сказал «Красота все время спасает мир». И я думаю, что это хорошо понимали уже древние за тысячи лет до меня,
 - Ты полагаешь?
 - А ты спроси у них сам. Ты ведь, как я вижу, не слишком скован в своих странствиях. Вон смотри, уж «Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос». Шестьсот стадий ей навстречу и три с половиной тысячи лет в прошлое - попадешь на Тиру, поговори с тамошними художниками,
 - Благодарю тебя, мудрейший Пифагор. Прощай!
 - Пощай, искатель гармонии...
 Первые лучи солнца осветили пустую площадку перед остатками колонн храма Геры. Птицы взорвались радостным хором. Утренний бриз приятно освежал мое разгоряченное лицо. Я повернулся к солнцу и вспомнил Крит...

*«Остров Крит
 Был как кит
 В многоводном Эгейском море.
 Там минойцев народ
 Беззаботно живет,
 Пьет вино и не знает горя...»*

(И.К.)

Посреди синего моря, погруженного в голубой раствор неба, темнеет горлышко кувшина, треснувшего с южной стороны. Это остров Тира, каким он был три с

половиной тысячи лет назад. Он подковой охватывает бирюзовую лагуну, треть которой занимает центральный остров, на котором расположилась столица. Я сразу вспомнил описанную Платоном Атлантиду – несомненно он был вдохновлен преданием об этом острове. Горы Тиры покрыты сосновыми и платановыми лесами, сменяющимися вблизи речек зарослями пальм. Над вершиной горы центрального острова слегка курится дым – это вулкан. Я иду по улице города от пристани, где швартуется множество кораблей, к центральной площади. Мой взгляд все время задерживается на прекрасных тирянках в платьях с совершенно открытой грудью. Они это прекрасно видят, но делают вид, что им это совершенно безразлично. Но мое выражение лица их явно веселит. На площади расположен дворец вроде Кносского с такими же круглыми красно-черными колоннами, сужающимися книзу. Я вхожу во дворец и сразу же оказываюсь в зале, снабженным световым колодцем в потолке. Яркий свет падает на стену, которую расписывает тирский художник – загорелый жилистый мужчина небольшого роста, замотанный в кусок ткани на бедрах. На стене цветет и бушует природа Тиры: грациозные антилопы, непоседливые обезьяны, бабочки и птицы самой причудливой раскраски, все это гармонично переплетается в едином и вечном танце жизни. Мужчина не отрываясь уверенно работает кистью. Я подошел ближе. Он повернул голову и быстро скользнул по мне цепким взглядом художника:

- Чужеземец? С севера?

- С севера,.. с Понта,

- Из Фракии?

- Ну да... из Фракии,

Тут он отложил кисть и заинтересованно повернулся в мою сторону:

- А правда, что ваш царь носит на члене золотой футляр?

- ...Правда,

- А как он крепится?

- А... просто так держится, без креплений,

- Да ну?! – на лице его изобразилось искреннее детское удивление, - Тогда ваш царь имеет поистине божественное происхождение,

- Почему ты так решил?

- Потому что я был в Египте и видел как фараон, которого все почитают живым богом, мастурбирует в Нил во время весеннего праздника, но после этого у него член обмяк, как у простого смертного, так что никакой бы футляр не удержался. Да он такой и не носит,

- Что это ты все членами интересуешься?

- У кого что болит, тот про то и говорит, - весело засмеялся художник, - работу я заканчиваю, а мне жрица Великой Богини обещала заплатить за нее любовью. Вот и крутятся все мысли вокруг члена,

- И это все, что ты получишь за эту прекрасную картину?

- А что мне еще надо? У меня ведь все есть?

- Что у тебя есть?

- А все, что надо. Мне ведь мало, что надо: было бы чего выпить да закусить, да вот любовь жрицы перепадет иногда. А все остальное – он обвел рукой вокруг, - все и так мое,

- Твое? – удивился я.

- А чье же? Я тут родился, вырос, значит это все мое. Посмотри на этот остров, на его горы и леса, на море – разве можно выдумать землю прекраснее этой? Я всю жизнь рисую ее, а мне снова и снова за каждым поворотом открывается новая прекрасная картина, - он широко по-дестки улыбнулся,

- А в Египте что, не так красиво?

- Нет, почему, там тоже красиво. Но по-другому. И художники там замечательные. Я ведь там два года был на стажировке, работал подмастерьем у художника Пта, мы расписывали гробницу фараона. Отличная работа: пять дней работаем, три отдыхаем. Еды навалом и любой, пива – от пуза, женщины там хорошие и художникам не отказывают. Вообще, два года я там жил как у Осириса за пазухой. И научился многому. У Пта птицы, звери, рыбы получались как живые. Замечательный мастер. Только...

- Что?

- Понимаешь, я никак не мог понять этих египтян до конца. Как-то раз вечером мы сидели с Пта и пили пиво. Я спросил его:

- Вот ты всю жизнь гробницы расписываешь, а что ты после смерти в царстве Осириса делать будешь? Он отвечает:

- Буду наслаждаться жизнью: пиво пить, вкусно есть, слушать веселую музыку и баб любить...

- И все?

- Все. А что тебе этого мало?

- Но это же вечность! Ты что всю вечность будешь пиво пить?

А он спокойно так говорит: – буду. Он мне объяснял, что у человека есть несколько душ, и что одна из них Ка такая же как тело, и так же пьет и ест и любовью занимается. Вот такая его душа и будет наслаждаться вечной жизнью в царстве Осириса.

- А остальные души? – спросил я,

- А с остальными душами это сложно, в этом только жрецы разбираются. Но я все-таки потом выяснил, что есть еще такая душа, которую они называют Ба. В этой Ба заключаются наши способности и устремления. Вот, если я художник, например, то моя Ба – это быть художником. Вот я и думаю, что моя Ба – будет рисовать и после смерти. И может быть не кистью и красками, но будет участвовать в творении этой красоты, - он опять сделал широкий жест рукой,

- И этого дыма из преисподней? – спросил я, вспомнив курящийся вулкан посреди лагуны,

- А вот как раз для того, чтобы силы преисподней не ожили и не проглотили наш остров, я и буду после смерти рисовать его красоту. Это и укротит их, ибо боги милостивы к художникам. Я верю, что красотой мир держится. И пока я рисую, мир будет существовать в своей красоте. Даже здесь, на краю вулкана. Так что когда я попаду на Небо, то я вечно буду рисовать пейзажи...

- ...Сэр Уинстон, это Вы?

Глава вторая: «Храм уединенного размышления»

1

*«...видна была беседка с плоским зеленым куполом,
деревянными голубыми колоннами и надписью:
"Храм уединенного размышления"
(Н.В. Гоголь «Мертвые души»)*

«...Сэр Уинстон, это Вы?», - я оторвался от клавиатуры и прислушался к доносящемуся со стороны дома русскому мату. Это моя очаровательная супруга разговаривает с рабочими, пристраивающими к дому веранду. Они что-то добродушно бубнят, полагая, что тоже поддерживают беседу на русском языке. Она крутится с этой

стройкой целыми днями «как лошадь в горячей избе», по ее выражению. А я сижу в беседке в верхней части сада и пишу роман. В строительных хлопотах я не участвую – как говорит моя супруга: «джентельмен с возу – бабе легче».

Беседка – это здание, которого как бы нету, потому что у него нет «внутри». Как у античного храма, у которого вместо стен колонны. Беседка – это не здание, а символ, знак здания. Это рама окружающего ее пейзажа. Но именно эта рама и превращает банальные кусты и деревья в пейзаж. В оконных проемах беседки меня окружают четыре пейзажа, один из которых открывается как раз на строящуюся веранду. Это именно та веранда, на которой я разговаривал с призраком графа Толстого в последней главе своего предыдущего романа «Русский графоман». Помните, мой читатель: «Я сижу на веранде и смотрю в сад. Тень от дома напалзает на яблони и черешни и приближается к стене вековых ясеней, обрамляющих сад со всех сторон». Тогда я – герой своего романа – смотрел на сад и беседку, в которой я сижу сейчас, но которой тогда еще не было. Который я? Мой старый роман остраняет меня нынешнего и превращает в текст нового романа. Но кто его автор? Я, который пишет сейчас эти строки, или я, который сидел на веранде тем вечером, которого не было, как не было тогда и самой веранды. Но был роман. И он определил реальность того, что сейчас происходит перед моими глазами. Но кто я? Если я герой моего романа, то это всего лишь вымысел. Этот вымысел отрицает реальность. Но если меня вместе с беседкой создал вымышленный герой моего романа, то произошло двойное отрицание: первое – это отрицание реальности и создание вымысла моего старого романа и второе – отрицание вымышленным героем старого романа своей вымышленной реальности, в результате чего появляюсь я реальный, ибо двойное отрицание эквивалентно утверждению. Таковы законы логики. И законы обратной перспективы, которая заставляет меня чувствовать себя чужим созданием: я ловлю на себе подпитый взгляд самого себя, сидящего на веранде, которой еще нет. В этих взаимных отражениях возникает та свобода моего я, которая позволяет мне совершать самые невообразимые путешествия и странствовать в мирах моего вымысла (а может быть и в реальных мирах, кто знает).

Итак, передо мной (кто бы это ни был) открывается вид на Крым. Правильнее писать «Крым», потому что это не многострадальный полуостров, а клумба – насыпной холм с камнями, засаженный соснами, можжевельником, кипарисами и лавандой. В жаркий полдень эти заросли источают запах настоящего Крыма. А напротив «Крыма» расположена «Ай-Петри» - тоже клумба, но практически вся сложенная из камней, отдаленно напоминающая зубцы своего прототипа. Я аннексировал этот Крым из своего прошлого романа и присоединил его к своему имени – это право Автора, что бы там ни говорила политкорректная Европа. За Крымом виден дом со строящейся верандой, лестница которой выходит к бане. Баня – это языческий храм моей жены. В него она входит простой смертной, а выплывает богиней в облаке пара и аромата эвкалипта, прекрасная как статуя венеры, превращающая наш старый сад в подобие настоящего парка. Но сейчас, на стройке, моя супруга скорее напоминает воительницу Афины, временно исполняющую обязанности Геракла.

А между «Крымом» и «Ай-Петри» расположен вход в сад. А точнее подъем в сад, потому что имение наше расположено на склоне холма, за которым высится горб покрытой синим лесом горы. За горой – Австрия. Где-то там за моей спиной начинаются Альпы. И нужно совсем немного воображения, чтобы взмыть над этой горой. Там холодный поток воздуха подхватит тебя и узкими Альпийскими ущельями потащит к югу, где в ослепительном блеске лагуны спит вечная Венеция...

Да, я - Манилов! Это - великолепно! Это звучит гордо! Ма-ни-лов! Что он понимал в русском национальном характере, этот провинциальный хохол, поэт галушек и «чего бы такого поесть». Это не родной Пузатый Пацок и не человек-утроба Афанасий Иванович Товстогуб. Манилов – это не о теле, а о духе. А дух питается мечтою! Этого не понять людям-

гусеницам, которые в перерывах между приемом пищи гадко хихикают над великим явлением русского духа – маниловщиной.

Не секрет, что Манилов – это карикатура на Александра Первого, прекраснородушного мечтателя о государстве всеобщего благоденствия, конституции и т.п. Но этот мечтатель, между прочим, Наполеона победил. И его папилька, Павел Петрович, был фантастический «манилов»: вспомните его игру в гротмейстера Мальтийского ордена – весь высший свет ходил в мальтийских крестах, а ведь Мальту вместе с Ионическими островами Павел реально взял под свой скипетр, и у России первый и последний раз появились свои владения на Средиземном море. А бабка его, Екатерина Великая, продвигала совершенно маниловский проект восстановления Византийской империи – просто заменить турецкого султана византийским императором, на роль которого она прочила или Потемкина или внука своего, которого специально для этой цели и назвала Константином (кстати, у Манилова сыновей зовут Фемистоклом и Алкидом – не об этом ли случае вспомнил Гоголь?). И если бы не внезапная смерть Потемкина, эта фантазия тоже наверняка стала бы реальностью. Как и поход Павла Первого вместе с Наполеоном в Индию – ведь уже атамана Платова отправили в Среднюю Азию на разведку и для организации баз снабжения войск, но английская разведка организовала убийство Павла, и все рухнуло.

Над чем смеется Гоголь? Над мечтами Манилова о мосте над рекой и доме, с балкона которого можно было бы видеть Москву и пить там вечером чай. А прадед его прототипа Петр Великий мечтал ни много ни мало как перетащить Голландию на берега Невы, создать «земной рай» среди финских болот. И что же? Вот он новый Рим – город святого Петра, гранит на болоте. Недаром Гоголь так не любил Петербург. Этот город оторгал его как чужеродную ткань, ибо город этот держится мечтой и воображением, а Гоголь видел в нем только унылое, ничтожное прозябание Акакия Акакиевича. И сбежал из Петербурга в старый Рим, изменив августейшей мечте. А старый Рим – это город вечной пошлости бытия, и жизнь его обитателей была подстать гоголевским персонажам, занятым питанием своего тела. Здесь Гоголю было спокойно, здесь до него не могли дотянуться страшные для него мечты «русского манилова». Трепещущая душа украинского провинциала хочет дремать в переваривании пищи, лишь изредка просыпаясь и с испугом интересуясь: «Ще нэ вмэрла Украина?» А в России из всех дыр прет эта ужасная маниловщина – маниловщина Лобачевского и Циолковского, которая прогибает под себя реальность грядущих веков. Вот оказывается «что значит это наводящее ужас движение» птицы тройки, вот почему «косясь, посторониваются и дают ей дорогу другие народы и государства»...

- Ты будешь борщ или окрошки сделать? – раздается вдруг над ухом голос жены,

- Не мешай... мне все равно,

- Я всегда всем мешаю. Интересно только, что вы все будете делать когда меня не будет...

- Ну что ты говоришь, видишь я занят, пишу...

- Все кругом писатели, а шуруп вкрутить некому,

- Ну хочешь, вкручу,

- Ты вкру-утишь! Себе дороже – потом за тобой переделывать,

- Не ворчи,

- А ты не злоупотребляй моим равнодушием...

- ... да, да и не руби сук...

- ... на которых сидишь!

- Отлично сказано!

- А то? Ладно, а котлеты с чем будешь?

- Котлеты?

- Что, это меняет дело?
- Котлеты, это хорошо-о. А ты – прелесть!
- А ты сомневался?
- А компот?
- И компот, куда ж без компота...

2

*«В действительности все иначе, чем на самом деле»
(Антуан де Сент-Экзюпери)*

А в действительности идет снег. Даже не идет, а льется сплошным потоком в давящей уши тишине под подушкой тучи, навалившейся на сад и скрывшей от глаз гору с щетиной заснеженных елей. Статуи в саду втянули головы в снежные воротники, зябко кутаясь в них своими каменными плечами. Беседка приняла на себя снежную крышу. Все зыбко. В потоке снега кажется, что деревья шевелят ветвями, хотя на самом деле они застыли в неподвижности. На самом деле?

Что же такое реальность и что такое литературная выдумка? - Я бреду по саду, оставляя за собой глубокие следы в свежем снегу. «Крым» напоминает зимнюю Яйлу. Снега покрыли «Ай-Петри». Из бани курится ароматный эвкалиптово-лавандовый пар – скоро из нее выйдет розовая нимфа в голубом тумане и с размаху упадет в сугроб, в соответствии со своим языческим обрядом. Ель возле дома сияет цветными лампочками под снегом – близится Новый год.

Прошло уже четыре года с тех пор, как я написал свой автобиографический роман «Русский графоман». А через год после этого я наткнулся на роман Губайловского «Учитель цинизма». Начал читать и окаменел: роман рассказывал обо мне. Точнее не обо мне, но это была моя биография, с теми же подробностями жизни, с теми же названиями и именами, хотя в своем романе я скрыл имена и названия. Судя по времени написания, мы с Губайловским писали наши романы одновременно. И жили мы практически одновременно (он на пару лет моложе меня). Но главное – рисунок нашей жизни был одинаков. Как будто где-то в космосе платоновских эйдосов существует замысел о жизни человека, который и воплощается в биографиях нескольких людей. И люди эти оказываются метафизическими близнецами. Кто же автор этого замысла? Я чувствовал какой-то озноб вдоль позвоночника, когда дочитывал этот роман. Я понимал, что столкнулся с реальностью, которая не совпадает с действительностью. Существование этой реальности делало меня персонажем какого-то произведения, хотя я думал, что я его автор. Я ощутил себя в обратной перспективе, представ перед Неведомым. И произошло это благодаря двойному остранению: я своим романом остранил свою жизнь, а Губайловский своим романом, остранил мой роман, забросив меня в реальность бытия персонажем. Но не литературным персонажем, а персонажем действительной жизни. В которой я уже не являюсь автором.

Нечто подобное проделал с Булгаковым Пастернак. Только он, наоборот, превратил Булгакова в литературный персонаж. Литературоведы догадались, что Пастернак написал «Доктора Живаго» в ответ на «Мастера и Маргариту» Булгакова. Оба романа содержат в себе внутренний роман: в одном случае это «Евангелие от Булгакова», а во втором стихи Юрия Живаго. Мне всегда казалось, что эти романы как-то связаны между собой. Но я не догадывался об их действительной связи, у которой есть автор – Борис Пастернак. Вот он Пастернак: верблюжье лицо аравийского джинна с

остекленевшим взором колдуна. Это он заколдовал живого доктора Булгакова, превратив его в свой персонаж – доктора Живаго. А его жену, отбитую им у красного генерала, в Лару, отбитую у красного командира Стрельникова. Зачем он это сделал?

Все дело в эффекте остранения. Зачем в оба романа вложены внутренние романы? Для того, чтобы остранить основной текст и на фоне этого остранения обрести черты истинной реальности. Сочиненный роман остраняет реальность жизни, а внутренний роман совершает вторичное остранение романа-выдумки, становясь на его фоне истинной реальностью: минус на минус дает плюс. Именно поэтому так достоверны главы о Иешуа и Пилате, и стихи Юрия Живаго. Но Пастернаку этого мало! Он превращает Булгакова в Живаго, живого человека в литературный персонаж, совершая остранение реальной судьбы и превращение ее в роман. На фоне этого превращения, внутренний «роман», остраняясь от текста основного романа, наполняется жизнью, «украденной» у реального доктора Булгакова. Так стихи Пастернака к «Докору Живаго» обретают жизнь и бессмертие.

Ахматова почувствовала это, но не разобравшись в сути дела, сказала, что роман Пастернака это второй том Мервых душ, а первый том – это стихи к нему... А на самом деле, действительно ли Гоголь сжег второй том, потому что тот украл живую жизнь у еще не рожденных второго и третьего тома?

3

*«Как сделать Рай? Надо сделать Ад,
а потом вывернуть его наизнанку.
На первое сил хватает всегда,
на второе – никогда»
(И.К.)*

Как я люблю сухой ароматный жар от камина! За окном зима, а в комнате с низким закопченным потолком пылает камин, потрескивают дрова. Солнечный луч зажигает отблески на каминных изразцах. Над камином висит моя любимая картина – море, берег, лодочка с парусом и зубцы Ай-Петри на заднем плане. Паутина оплела ее нижний угол, а я не даю жене ее смести, потому что паутина – это след времени. Я так и не успел нарисовать огонь в камине – теперь уже и не нарисую, нет зрения. Но смотреть на огонь не устаю. Вот удивительно: перед телевизором человек скучает, имея десятки программ, а перед камином, в котором всего одна «программа», не скучно, потому что эта «программа» вечная. Она обо всем, что было с нами, что было не только с нами, и что еще может быть случится с нами...

Вот так, наверное и Гоголь, сидел перед камином в ту ночь и пытался отогреть своего мертворожденного ребенка - второй том Мервых душ. Он видел, что ребенок не оживает, и все совал и совал листы рукописи в огонь, пока пламя не поглотило их все.

Гоголя вдохновлял пример «Божественной комедии» Данте. Он тоже хотел написать трилогию «Ад – Чистилище – Рай», но о России. И первый том «Мертвых душ», по его замыслу, был описанием Ада русской жизни. Второй том должен был быть чистилищем для Чичикова. Но... не получилось его очистить. Гоголь попытался вывернуть свой Ад наизнанку и получил в результате «Выбранные места из переписки с друзьями» - перечень благих намерений, которыми, как известно, вымощена дорога в Ад. Тогда Гоголь взял и умер.

Осуществим ли замысел Гоголя? Спустя два века писатель Шаров попытался вообразить себе его осуществление в романе «Возвращение в Египет». Его герой, полный тезка Гоголя, пишет второй и третий тома Мертвых душ. Во втором томе Чичиков становится епископом раскольников, а в третьем – этот старый епископ уже перед смертью передает все свои деньги, которые он-таки накопил за свою жизнь, руководителю террористов Алеше Карамазову. Здесь роман Гоголя остраняет роман Достоевского, в результате чего замысел «Мертвых душ» входит в реальную жизнь и определяет будущее России. И будущее это таково, что по сравнению с ним и первый том покажется Раем.

А может они не там ищут Рай, не туда смотрят? Ведь Рай у Гоголя есть уже в первом томе – это описание сада Плюшкина. Это русский пейзаж. Этот пейзаж появляется уже у Пушкина в «Евгении Онегине»: перечитайте отрывки от «Уж небо осенью дышало...» до «На красных лапках гусь тяжелый, задумав плыть по лону вод, ступает бережно на лед...» или от «Зима, крестьянин торжествуя...» до «вот бегают дворовый мальчик, в салазки жучку посадив, себя в коня обратив» - это же словами написанные пейзажи Питера Брейгеля. Этот пейзажный рай заполняет «Записки охотника» Тургенева. Это сцена охоты в «Войне и мире», это акварельные описания природы у Бунина. Рай вкраплен в русскую литературу на протяжении всей ее истории. И этот рай существует вечно, пока существуют русские читатели, потому что они через эти литературные картины обучаются видеть рай вокруг себя, в мире, где они живут. Те же кто не знает этого рая, слепы и мир для них – это скучная закоптелая банька с пауками, как говорил герой Достоевского.

Я смотрю на соседские имения и вижу, как каждый прилагает непрерывные усилия, чтобы превратить свой пейзаж в такую баньку. Европейский трудоголик – это не русский алкаш, который просто не замечает того, как вокруг него природа незаметно создает свой пейзаж. Европейский мужик похож на личинку короеда, после которой остается пустырь, псыпанный трухой. Европейское трудолюбие как русский бунт – бессмысленно и беспощадно. Все потому, что нет у них в душе рая, насажденного русской литературой. А это пустое место заселено бесами стяжания и зависти. Мир – это Рай населенный бесами.

Поэтому Рай – это Мир, из которого изгнаны бесы. Русская литература мечтала справиться с бесами, но ей удалось лишь живописно изобразить их паноптикум. Бесы – это человеческие страсти, это «фауна» мира. А если научиться видеть его «флору», тогда можно увидеть подлинный Рай земной. Что для этого нужно? На этот вопрос ответили еще греческие мудрецы – это апатейя - бесстрастность, и атараксия – невозмутимость. Молчаливое созерцание, исихия стохастикос – вот жизнь в пейзаже, которая и есть Рай.

Глава третья: «В поисках утраченного рая»

(Вильям Шекспир)

Передо мной знакомый с детства пейзаж: двор между кирпичными пятиэтажками, кусты кленов и акаций, газоны декоративной ромашки вдоль домов, песочница, к которой протоптаны тропинки в мураве. Я стою посреди двора и смотрю на наши окна на третьем этаже. Там горит свет и видно, что в квартире кто-то есть. Но я знаю, что квартира наша давно продана, там живут чужие люди. И все-таки я иду к подъезду, пулей взлетаю по лестнице, пахнувшей мокрой пылью. На втором этаже, где висят почтовые ящики, я долго достаю через щель почтового ящика пачки журналов и писем: там и мои письма, которые я писал перед своим приездом сюда и которые меня обогнали. Я взбегаю на свой этаж, но промахиваюсь и почему-то оказываюсь на пятом этаже, поворачиваюсь, и спускаюсь на свой этаж. Вот дверь нашей квартиры. Она открывается, на пороге стоит, вся лучась улыбкой моя мама. Значит квартира не продана? Я ошибся! Мама дома. И она жива? Значит я ошибся? – я думал, что она давно умерла. Я вхожу в нашу квартиру, тут все по-старому, я каждым своим движением помню все предметы, все это пространство. Вот только темно что-то. Я пытаюсь включить свет в комнате, но выключатель не работает. Пытаюсь зажечь свет в коридоре, в ванной, но выключатели и здесь поломаны... И тут я вспоминаю, что это происходит каждый раз, когда я оказываюсь в нашей квартире, потому что это признак моего сна, по которому легко определить, что я во сне, но я каждый раз забываю об этом и думаю, что я действительно вернулся в дом своего детства...

Опять обманулся. Но вот я в саду у бабушки перед ее домиком. Я не был здесь двадцать лет. Думал, что забор уже завалился и сгнил, что сад уже весь затоптан прохожими, ан нет – вон и забор стоит, и сад на месте. А вон и бабушка выходит на крыльцо, все увитое диким виноградом. Значит бабушки жива? А я думал, что она давно умерла. Я вхожу внутрь дома, все знакомо мне, все на месте, те же запахи чистой старости, каких-то трав и корвалола. Вот только на месте входа в маленькую котмнатку, стена. Я удивленно спрашиваю об этом бабушку. Она отвечает, что соседи захватили часть нашей территории и теперь тут нет ни летней кухни, ни хозяйственного двора, ни этой котмнатки. Но пейзаж за окном все тот же: густые вишни, за которыми старые яблони распростерли свои ветви над рядами пожухлой картофельной ботвы. Я лихорадочно думаю: «Что же теперь, оставаться здесь, а как же... где же я буду работать, с чего жить... но как же бабушка будет одна?». А она что-то оживленно говорит, что-то стряпает как всегда, когда я к ней приезжаю. Я выхожу в сад – все как прежде. Значит этот дом у нас все еще есть, ведь здесь живет бабушка. Но ведь она кажется умерла?.. Тут я просыпаюсь и понимаю, что это был всего лишь сон. И рай моего детства снова захлопнулся, сдавив при этом что-то в груди...

Говорят, Адам в Раю давал имена всем явлениям, существам и предметам. Другими словами, он описывал словами картины, которые видел перед собой. Если это правда, то сон – это «антиадам», ибо во сне мы заняты прямо противоположным делом – наш бессознательный мозг разговаривает сам с собой, а мы наблюдаем картины, которым его слова соответствуют. Что же нам рассказывает наше подсознание? Оно рассказывает нам вечные мифы, которые мы одеваем образами личного опыта. Мои сны – это миф о вечном возвращении. Суть его в принципе Гераклита: «В одну реку нельзя войти дважды». А нам очень хочется. А если нельзя, но очень хочется, то может быть можно? Вот мы и пробуем это сделать... каждую ночь.

Помните евангельскую притчу о блудном сыне? Блудный сын хочет вернуться домой, к отцу, причем он понимает, что как прежде уже не будет, что он не будет уже любимым сыном, но хотя бы рабом своего отца, но вернуться. И вот он возвращается и,

о чудо, отец его принимает с любовью, как прежде! Но нет, не как прежде: старший брат его ненавидит за то, что он промотал свое наследство, а теперь пришел домой подьедаться. Как прежде уже не будет...

Одиссей хочет вернуться на родную Итаку. Но это невозможно – боги все время забрасывают его не туда. И вот в конце концов он все-таки на Итаке, но все в его доме по-другому, всем заправляют новые хозяева – женихи Пенелопы. Но Одиссей все-таки восстанавливает все как было – убивает женихов. Казалось бы вот оно возвращение! Но тут осуществляется пророчество старца Тиресия, которое он получил в Аиде: «Когда же обманом или явной силой ты умертвишь женихов, захвативших дом твой, тогда оставишь дом свой и, взявши весло корабельное, отправишься снова странствовать и будешь странствовать до тех пор, пока не увидишь людей, не знающих моря и не солящих пищи. Если дорогой ты встретишь путника и путник тот тебя спросит: "Что за лопату несешь на плече?" – тогда можешь водрузить весло свое в землю; тогда конец твоему роковому, долгому странствию». Что это значит? А это значит, что он будет странствовать так долго, пока не сменится поколение, пока не останется ни одного его современника, для которого, как и для него самого, какие-то вещи являются само собой разумеющимися. Тогда он сможет вернуться, но это уже будет другая «река Гераклита». Возвращение все-таки невозможно.

Сколько раз уже была экранизирована «Одиссея». Это потому что миф, как и сон, очень кинематографичен. Недаром ведь мы сны смотрим, а не слушаем. Великие художники это понимали: Дали рисовал свои сны, а Феллини свои сны экранизировал. Через их произведения эти сны стали нашим коллективным достоянием, нашим общим сном. Кино – это и есть наш коллективный сон и наш коллективный пейзаж, внутри которого существует наша цивилизация. А телевизор стал окном в этот пейзаж. Непрерывно глядя в телевизор, мы отвернулись от реального пейзажа за окном. Но кино – это фабрика иллюзорного пейзажа или управляемый рай. Бесы догадались об этом и стали кинематографистами.

2

*«В игровом кино режиссер — это Бог,
а в документальном Бог — режиссер»
(Альфред Хичкок)*

Писатель Маканин заметил, что европейский роман XIX века ближе к кино, чем к роману предшествующих веков. Мы привыкли мысленно видеть картину того, о чем читаем, а ведь это стало возможным только с эпохи Стендаля, Бальзака, Диккенса, Гоголя. Вспомните романы XVIII века, того же «Робинзона Крузо» или «Путешествия Гулливера», или еще раньше: «Дон Кихота» или «Гаргантюа и Пантагрюэля» - это все сплошные разговоры автора с читателем или героев между собой. Они рассуждают о том, что видят, потом рассуждают о том, что они сказали раньше, потом рассуждают о том, что слышали от кого-то еще и т.д. Там не на чем задержаться мысленному взору. Что это? Это культура устной речи – прямое наследие Средних веков.

Как это ни странно прозвучит – это проза для неграмотных. Нет, тот кто читает, конечно грамотен, но если он читает вслух, то эта проза ничем не отличается от беседы собравшегося у камина общества. Эти люди не умеют читать, но каждое воскресенье обязательно слушают проповедь священника в церкви. Они приучены воспринимать рассказы на слух – и в церкви, и в кабаке, и в на базаре. Это культура тотального

говорения. Поэтому для этих людей простым оказывается то, что для нас кажется очень сложным, и наоборот. Например, известно по записям в судовых журналах, что в XVII веке на английском флоте при длительных стоянках в заморских странах матросы разыгрывали драмы Шекспира. Они были и актерами и зрителями. Вообразите себе, мой читатель, этих матросов, хотя бы по «Острову сокровищ» Стивенсона. Какой-нибудь Билли Бонс и «быть или не быть...!» Мы воспринимаем эти бесконечные Шекспировские монологи, как искусство для утонченных интеллектуалов, а в ту эпоху – это было искусство для простолюдинов. Потому что мы за два столетия утратили способность воспринимать слово на слух. Их мирослушание было вытеснено нашим мирозерцанием.

В XIX веке мир стал грамотным. Люди научились молча водить глазами по страницам и видеть при этом свой индивидуальный фильм о героях романа. Так что кино началось за пол-века до кино. Но здесь ключевое слово «индивидуальный». Каждый читатель романа является сам себе режиссером. Он – автор своего фильма. И фильмы разных читателей об одном и том же романе совершенно различны. В этом заключается принципиальное отличие века грамотных людей от следующего за ним века новой безграмотности, когда нечитающей публике показывает единое и единственное кино один режиссер. Здесь он автор, а зритель – праздный созерцатель событий сюжета, он затерялся где-то среди героев в обратной перспективе по отношению к автору. Кино отучило публику читать, то есть отучило быть авторами созерцаемых ими картин.

Обратная перспектива в иконописи – это выражение благоговения перед Творцом мира. Обратная перспектива в светском искусстве – выражение рабской покорности автору. Безропотное принятие всего, что впаривают нам художники, включая сюда само искусство. Человеку эпохи Возрождения было бы странно услышать современные дискуссии на тему «Что есть искусство?» - в те времена каждый мог отделить «мух от котлет». А сегодня привыкший к повиновению зритель слабо понимает, где кончаются «котлеты» и где начинаются «мухи». И все сомневается, морща свой узкий лобик, подобно Гоголевской Коробочке: «А может быть это как-нибудь того, может это тоже искусство?» И в ответ слышит грозный окрик Автора: «А ты как думал, профан? Конечно искусство! Все, что я тебе втохиваю, и есть искусство!» И зритель, облегченно вздохнув, пристраивается к писсуару Дюшана, уставившись взглядом на «Черный квадрат» Малевича.

А что, в самом деле, если писсуар Дюшана искусство, то «Черный квадрат» – это икона, ад – одна из ипостасей рая, красота у каждого своя, причем сегодня она не та, что вчера. Ее можно менять как пол – а что, имеем право! Так что если ты не в раю, то ты чего-то не просек – отстал от мейнстрима. Хочешь обрести Рай? - Присоединяйся к нам, тут этой хренотени на всех хватит, присоединяйся...

*«Женщина - самое могущественное в мире существо,
и от нее зависит направлять мужчину туда,
куда его хочет повести Господь Бог»
(Генрик Ибсен)*

... А навстречу европейскому мейнстриму гремит и пенится другой поток – это уже не культура слова и не культура изображения, а культура ритуального жеста. Этим жестом отрезают головы у людей и разбивают произведения искусства древних цивилизаций. Это земной рай полевых командиров и их халифов, неотличимый от ада для всех остальных. И у этого рая узнаваемый пейзаж – однообразно повторяющиеся пустыри, убогие селения и помойки. И ни одного дерева. Я всегда удивлялся, почему люди не посадят возле своих селений деревья, ведь там теплый климат, вырастет все, что воткнешь в землю, только поливай. И евреи это доказали – они засадили горы Израиля лесами. Но на месте рукотворных пейзажей Вавилона и Ассирии теперь только пустыри и помойки. Причем пустырь, это не величественная пустыня, в которой можно любоваться изменением пейзажа от восхода до заката, не сходя с одного места. Пустырь – это рукотворное ничто. Пустота души нашедшая себе адекватное выражение в окружающем мире. И рай на пустыре весь обращен вовнутрь, в плоть без глаз, он весь заключен в безостановочном размножении, скорость которого сравнима лишь со скоростью безостановочного истребления всех, кто возвышается над их душевным ничтожеством.

А ведь именно здесь, на этих землях, шесть тысяч лет назад расцвел и угас золотой век человечества – первый росток земного рая. Кровавый поток истории смыл его из памяти человечества. Вот и сегодня в этом потоке исчезают крупинки наших знаний о себе. Оба потока, европейский и восточный, сталкиваясь, закручиваются в гигантский водоворот и с диким ревом низвергаются в бездну Ада. Они растекаются по всем его девяти кругам и заканчивают свой путь в ледяном озере Коцит, в которое вморожен сам Люцифер. Это он своей задницей закрывает проход в Рай. Но Данте с Вергилием нашли проход вдоль подземного ручья Леты, который течет с вершины Рая. Поэтому я не раздумывая ныряю вниз вдоль водопада духовных нечистот и стремительно приближаюсь к ледяной пробке Люцифера. Во мне волнами нарастает ужас и эйфория, холод и жар, вдох и выдох, вдох и выдох, вдох и выдох...

... Не переставая глубоко дышать, я открываю глаза и обмираю: вокруг меня простирается долина реки, в которой я внутренним знанием узнаю Иордан. Вдали белеют дома селения. На холмы взбираются выложенные камнями террасы, сплошь засаженные старыми маслинами. Вдоль террас бежит вода в арыках. В тени под раскидистой маслиной сидит, опустив ноги в проточную воду, голая молодая женщина с распущенными волосами. Я стою перед ней дурак дураком. Кроме журчания ручья слышен только стрекот цикад. В голове почему-то всплыли слова Ксенарха Родосского: «Счастливы цикады, у коих жены безмолвны». Но в это время она озорно взглянула на меня и нарушила молчание:

- Что, чужеземец, ты нем или не умеешь поздороваться?

- А-а-э-э... салам, в смысле шолом... Кто ты, прекрасная?

- О-о-о, оказывается ты все умеешь, чужеземец. Ну, почти все. Кто я? Я та, которая превращает дикого Энкиду в ручного Гильгамеша – надеюсь, ты слышал эту историю,

- Проститутка?

- Ха-ха-ха – она залиvisto рассмеялась, откинув голову так, что ее волосы широкой волной облизнули все тело – Ах, мужчины, вы так ослеплены самим процессом, что за ним не видите результата. Я не проститутка, я жрица богини Иштар,

- А в чем разница?

- Проститутка вас удовлетворяет, а жрица вас направляет,

- Куда?

- К общей пользе, к созиданию красивой и мирной жизни во славу Иштар,

- А без твоего управления это что, невозможно?

- Увы, мужской ум слишком... операционален...

- Как? Как ты сказала?
- Я не сказала, я подумала, а ты услышал слово на своем языке. Наверное тебе оно что-то говорит, хотя я его не знаю,
- А каков женский ум?
- А женский ум... концептуален – она остановилась и внимательно посмотрела мне в глаза, чтобы убедиться, что я услышал нужное слово - Поэтому мужчинами должны управлять женщины и тогда в мир будет находиться в гармонии,
- Рай на земле?
- Пусть будет так,
- А есть опасность, что этот рай исчезнет?
- Есть. И опаснотсь эта называется «любовь»,
- Как любовь? Почему?
- Потому что вы, мужчины, в любви становитесь кичливы, заносчивы и горделивы. Вы готовы сражаться со всем миром на глазах своей возлюбленной. А женщины в любви становятся дурами, которые открыв рот любят бесчинствами своего избранника. Такое состояние способно породить разлад и раздор в народе,
- Но ведь известно, что в семье женщина, внешне подчиняясь мужчине, на самом деле управляет им,
- Да, даже дуры управляют своими мужчинами, но при этом они направляют все мужские усилия на обеспечение достатка своим детям. А это тоже ведет к распрям и сварам в народе. Если каждый мужчина замкнется в своей семье, наступит раскол и рай кончится,
- Так ты стоишь на страже рая?
- А как же? Пока мы, жрицы Иштар, укрощаем диких самцов и глупых баб, мир пребывает в раю,
- И как же вы их укрощаете?
- Хочешь узнать? Ха-ха – она коротко хохотнула низким грудным голосом и внимательно посмотрела на меня исподлобья – Ну, иди ко мне дикий Энкиду, я сделаю из тебя Гильгамеша...
Много позже, уже будучи «гильгамешем», я подумал, что представление мусульман о Рае, как о саде, населенном гуриями, - это оставшееся в коллективной памяти народов Ближнего Востока воспоминание о золотом веке, когда мудрые жрицы любви своим самоотверженным трудом не давали обществу сорваться в Историю.

Глава четвертая: «Обратная перспектива»

1

«Знающий не говорит, говорящий не знает».
(Лао-Цзы)

- Дома вы все «гильгамеши», а как увидел первую юбку так сразу «дикий энкиду», - заметила моя жена, прочитав предыдущий отрывок,
- Юбки там как раз и не было,
- Ну значит «очень дикий энкиду»,
- А ты настоящая жрица любви, если смогла приручить такого «дикого энкиду»!
- Ой, лиса! Я наверное уже похожа на зайчиху,
- Почему это?
- Потому что навешанная тобой лапша уши оттянула,
- Я женщинам никогда не вру,
- Да, они-дуры сами себе врут. А иначе как бы они с такими «энкидами» жили... Вообще, каждая женщина сочиняет роман о своем мужчине – в нем и живет. А читателей у этого романа нет, поэтому супруг сравнению не подлежит,
- Воистину ты мудрейшая из жен!
- Да уж, не твоего ума ягода. Ладно, пиши писатель, а мне хочется чего-нибудь амплитудного. Траву покосить что ли? Или дров напилить?
- А я отправлюсь в новое путешествие,
- Куда это?
- По следам Кастанеды, в Икстлан,
- Чем бы дитя не тешилось...

Если нам не дано вернуться в рай нашего детства или детства человечества, то может быть мы можем вернуться в некий «метафорический рай», который открыт посвященным – людям особого знания. Такое странствие писатель Кастанеда назвал «Путешествием в Икстлан». Суть его заключается в том, что после обретения этого знания, человек уже больше не может вернуться «домой», к своему прежнему образу жизни. Ему остается единственный путь - в Икстлан.

Помните фильм Марка Захарова «Убить дракона»? Там сын бургомистра спрашивает отца: «Может ли Ланселот убить дракона?», а тот отвечает: «Может, но не Ланселот». Так и в Икстлан может дойти, но не тот, кто отправился в путь. Почему Ахиллес не может догнать черепаху? Потому что по дороге он перестает быть Ахиллесом. Более того, он уже никогда не сможет снова стать Ахиллесом! Но он как и все обречен стать стариком. Герой Кастанеды дон Хуан говорит о старости: «Это самый жестокий враг, которого нельзя победить, можно лишь оттянуть свое поражение. Это пора, когда путешественником овладевает неодолимое желание отдохнуть, лечь, забыть... Но если человек стряхнет усталость и проживет свою судьбу до конца, тогда его в самом деле можно назвать человеком знания, пусть ненадолго, пусть лишь на тот краткий миг, когда ему удастся отогнать непобедимого последнего врага. Одного лишь этого мгновения уже достаточно».

Достаточно для чего? Для «остановки мира». Который останавливается при остановке внутреннего диалога. Кастанеда говорит: «Мы непрерывно разговариваем с собой о нашем мире. Фактически, мы создаем наш мир своим внутренним диалогом. Когда мы перестаем разговаривать с собой, мир становится таким, каким он должен быть. Мы также выбираем свои пути в соответствии с тем, что мы говорим себе». Значит, чтобы перестать быть Ахиллесом, нужно перестать болтать с черепахой. Но тут приходит старость с ее болтливостью и Ахиллес уже никогда не доберется до Икстлана – он догонит черепаху и разделит с ней свой старческий маразм.

Чем же лечится наша болтливость? «Пристальным созерцанием», – отвечает Кастанеда. «Если пристально созерцать груды сухих листьев часами, твои мысли утихают. И мир останавливается... Когда ты можешь останавливать мир, ты являешься пристальным созерцателем». Я не хочу пристально созерцать кучу листьев, я хочу

созерцать пейзаж. И если при этом мир и мой внутренний диалог останятся, то кто сможет отличить меня от созерцаемого мной пейзажа – я стану частью этого пейзажа.

Китайцы называют это «У-вэй» — созерцательная пассивность. Это слово часто переводится как «недеяние». Недеяние характеризуется тем, что человек относится к миру (а равно — и к себе, к своему «я») как к самодостаточной целостности, не нуждающейся в каких-либо вмешательствах. В том числе и вмешательствах моего «я». Пристальное созерцание пейзажа помещает мое «я» в обратную перспективу, когда оно умалывается на переднем плане пейзажа, в то время как на заднем плане угадывается пребывающий в вечности Автор. Ему нет до меня дела, но Он любит тем же пейзажем, что и я, и говорит сам себе: «Это хорошо весьма».

В моем саду три точки образуют треугольник, охватывающий весь сад: это белая лавочка, белая беседка и белый дом. Когда я нахожусь в одной из вершин этого треугольника, две оставшиеся вершины стягиваются ко мне сторонами треугольника. Так материализуется принцип обратной перспективы – я всегда нахожусь в точке схождения линий пейзажа, как если бы я располагался на горизонте в прямой перспективе. Пейзаж, открывающийся с лавочки, из беседки и с веранды дома – это и есть мой «Икстлан».

Посреди пейзажа тарахтит травкосилка и над садом стелется вдохновляющий запах свежескошенной травы – моя жена «отогоняет непобедимого последнего врага» Кастанеды. Это ее ежедневное «недеяние», которое не терпит отлагательства, ибо, как гласит одно из ее мудрых изречений: «Не то печально, что молодость прошла, а то, что и старость проходит».

2

*«Я знаю, что деревьям, а не нам,
Дано величье совершенной жизни ...»
(Николай Гумилев)*

Я сижу на белой лавочке на самом краю сада. Она находится в вершине треугольника, образованного ею, домом и беседкой. Дом – место жизни, беседка – место созерцания дождя, лавочка – место созерцания света. За моей спиной поднимается в небо вековой ясеня – дерево-лес. В чьей душе не текут слезы восторга при виде такого дерева, тот еще не родился или уже умер. Своими могучими ветвями и перистыми листьями дерево нарезает пространство на ломтики плоскостей-антенн, стяжающих солнечный свет. При этом дерево образует объем плоскостями листьев, а свет образует тот же объем линиями лучей. В этом объеме свет становится жизнью. Дерево и свет существуют нераздельно и неслиянно, поэтому стоит поднять голову и посмотреть вверх на крону дерева, чтобы увидеть пространство света. А без дерева этого пространства не увидеть.

- Так и Бога нельзя увидеть вне тварного мира. Поэтому Бог является одновременно постижимым и непостижимым, знаемым и незнаемым...

Я поворачиваю голову – на лавочке рядом со мной сидит чернобородый монах, по лицу сразу видно – грек. Причем древний, византийский. Он тоже, задрав голову, смотрит на игру света в листве ясеня. Иногда солнечный луч скользит по его фигуре, а иногда свободно проникает до самой лавочки и тогда фигура его становится неотличима от густой тени,

- Святой Дионисий Ареопагит называет это апофатическим богословием: мы созерцаем все, что не есть Бог, и постепенно в этом «всем» угадывается Сам Бог,

- Сам Бог?

- Ну, конечно не Сам, а Его энергии, то есть свойства, движения естества, проявленные вовне. Бог пребывает в этом мире в качестве Своих энергий. И их можно созерцать, а не просто рассуждать о Боге, как это делает Дионисий. Говорить о Боге и встретиться с Богом не одно и то же, а через Свои энергии Он становится доступным для человека,

- А ты сам встретился с Богом?

Он посмотрел на меня печально, улыбнулся и ответил просто:

- Встретился,

- Как это случилось, расскажи...

- Это было на Афоне, где я подвизался в Ватопеде. Да, мое имя Григорий, Григорий Палама,

- Это я уже понял по твоим речам,

- Так вот, это было в жаркий полдень. Я сидел на скале под дубом, утопив свой взгляд в синеве моря и пребывал в молчании-исихии. Ты знаешь, что такое исихия?

- Остановка внутреннего диалога посредством непрерывного творения Иисусовой молитвы,

- Да, верно... И вот я вдруг понял, а точнее почувствовал всей полнотой своего существа, что Бог пребывает во мне и видит это море и небо моими глазами. Это было странное ощущение: меня наполнил покой, я как бы вернулся в свой вечный дом и мне не к чему было уже стремиться. Это было все и это было счастье,

- Рай?

- Наверное, Рай. Тут я вспомнил изречение [Тергуллиана](#) «Бог очеловечился, чтобы человек обожился» и понял – вот оно! Так и должно быть: человек по милости Божьей посредством нетварных энергий усваивает Бога и усваивается Богом и так «становится богом», богом не по существу, но по благодати. Человек и Бог при этом находятся в синергии,

- Это как?

- А вот как листья дерева и солнечный свет, - и он поднял голову и посмотрел на крону ясеня, - Это значит, что нет моей воли и моего тела, а они используются Богом для того, чтобы Ему пребывать в мире, Им сотворенном,

- Это как Бог пребывает во Христе?

- Именно так!

Мы помолчали. Потом мне в голову пришла неожиданная мысль:

- А ведь это твое «обожение» совсем не исключает страданий,

- А как же? Обоженный человек это бог страдающий, как и Христос, потому что мир распинают бесы и бог сораспинаем вместе с миром, который он заключил в себя,

- Вот и я умираю с каждым срубленным деревом, потому что распят на этом пейзаже,

- Это и есть крест человеческий – стать мыслью и сердцем пейзажа,

- «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...»,

- Именно так. Это откуда?

- Из Пушкина,

- Не знаю, не читал. А вот апостол Павел сказал: «Любовь не ищет своего, а сорадуется истине» - это ведь как раз об этом,

Мы снова помолчали.

- Что-то Рай у нас получается странный – со страданиями,

- А какой он еще бывает? – улыбнулся монах, и солнечный луч скользнул через его улыбку на куст рододендрона возле лавочки. Тень дернулась порывом ветерка и я снова обнаружил себя в одиночестве под световой сенью ясеня.

- «А каково это быть умом рая?», - подумал я, вставая и медленно направляясь к беседке.

*«Старость имеет свою красоту»
(А.И. Герцен)*

Заходящее солнце делало беседку особенно яркой на фоне темной зелени деревьев. Я подошел к ее входу и застыл от неожиданности – там сидел старик с седой бородой и длинными седыми волосами по краям лысины. Мохнатые брови скрывали глаза, которыми он рассматривал этикетку винной бутылки. Крупный нос и опущенные уголки тонких губ придавали лицу выражение брезгливого недовольства. Вино было мое, я оставил его в беседке на столике с намерением выпить, когда спадет жара. Я узнал этого старика и обратился к нему известной фразой:

- Вино какой страны Вы предпочитаете в это время суток?

Он поднял на меня глаза и они, против ожидания, оказались большими и по-детски приветливыми:

- Я за последние годы жизни привык к французскому, но все-же оно не сравнится с итальянским. А вас, чехов, я слышал, император Карл четвертый тоже приучил к французскому вину?

- Нас, русских, великий князь Иван третий приучил к греческому вину,

- О, Вы русский? Не ожидал встретить русского в таком месте. А я знал одного русского художника из Московии и даже переписывался с ним. Его звали Дионисий, не слышали?

- Как же. Это наш великий иконописец! Как же Вы с ним переписывались?

- Через московского посла при дворе Миланского герцога,

- А о чем, если можно спросить?

- О Рае и о райской улыбке,

- Не может быть! Расскажите, мне это очень важно знать. Позвольте я налью вам, маэстро, - это мое любимое критское вино.

Он сделал глоток, посидел молча, прикрыв глаза, потом улыбнулся и начал рассказывать:

- Русский посол – очень приятный человек с очень трудной фамилией Ма-мы-рев – интересовался живописью, он видел как я работаю над своей Джокондой и что-то такое о ней рассказал Дионисию, когда был в Москве. А потом привез письмо от Дионисия, в котором русский художник писал, что он изобразил Мадонну в каком-то северном монастыре, и она у него улыбается так же незаметно и странно, как моя Джоконда,

- Я знаю, это фреска в Феррапонтовом монастыре,

- Ну это еще сложнее произнести, чем Ма-мы-рев,

- Ну а при чем здесь рай?

- А рай вот при чем. Как Вы думаете, кто изображен на портрете госпожи Лизы дель Джокондо?

- Она, то есть Лиза дель Джокондо,

- Нет, это мой автопортрет. А точнее, мой портрет, каким его написал бы Господь Бог, если бы он был художником,

- Как это, не понимаю,

- У византийских живописцев есть такое понятие «обратная перспектива»,

- Я знаю, это изображение мира перед лицом Бога,

- Вот я и попробовал нарисовать портрет человека, который находится перед лицом Бога. И взял в качестве натуры себя,

- Но почему на портрете женщина?

- Она ведь не вполне женщина, как и ее улыбка не вполне улыбка. Это человек, отразившийся в Боге, как в зеркале, в котором не только правое и левое меняются местами, но меняется и пол, и возраст, и настроение. На портрете изображен момент самого превращения, созерцательный покой, равновесие, в котором находился в Раю Адам. И это улыбка созерцания – созерцания Рая,

- Я вспомнил: я недавно читал статью одного русского философа, который обнаружил обратную перспективу в пейзаже позади Вашей Джоконды. Если разрезать картину вдоль посередине и поменять местами правую и левую части, то получится единый пейзаж – там горы и дорога совпадают, если расстояние между половинками будет примерно равно толщине колонны. При этом основание колонны будет изображено в обратной перспективе...

- Ну, и дальше?

- Это все,

- Этот философ остановился на пол-пути. А дальше нужно соединить обе разрезанные половинки фигуры. При этом плоскость картины замкнется в цилиндр, и фигура окажется повернута к зрителю спиной. Но лицом она будет повернута к пейзажу, написанному в обратной перспективе, то есть лицом к Богу,

- ... Понял. Ваше здоровье, маэстро!

- И ваше!

Мы выпили. Я налил еще.

- Скажите, маэстро, а ум этого человека из рая, он ведь тоже должен измениться под взглядом Бога? Я хочу сказать, что это уже не будет ум этого конкретного человека, а будет ум того мира, того пейзажа, который он созерцает, ум рая что-ли,

- А разве мой ум это не ум мира? Для меня это всегда было очевидно,

- И это ум рая?

- А живому все рай! Это если смотреть на жизнь в «обратной перспективе» – со стороны смерти,

- Живому все рай, - эхом повторил я. Последний луч солнца погас. На столе стояли два наполовину пустые стакана вина. Кресло гостя было пусто. Сквозь оконный проем беседки открывался вид на небесное представление: сиреневые облака с персиковыми подбрюшьями толпились на зеленоватом небе. В саду стучал дятел и пахло вечерней сыростью. А в кресле сидел старик – старик в пейзаже...

Глава пятая: «Обратная задача рассеяния»

1

*«для настоящего прошедших предметов
есть у нас память или воспоминание..»
(Аврелий Августин)*

Старики рассеяны. Потому что в них слишком много времени. А рассеяние – это суть физического времени, его определение через второе начало термодинамики. Время

в нашем мире всемогуще. Ему противостоит только память. Которой обладают только живые существа. Это даже можно считать определением живого существа или живой машины: это машина памяти. Или машина борьбы со временем. Правда время в конце концов нас все равно побеждает. Но вот Бог пребывает вне времени, поэтому Он может быть понят как «вечная память» (вспомните молитву об усопших).

Вот дерево. У него фома памяти: вложенные кольца прошедшего времени в нашем текущем времени. Дерево сохраняет в своей форме то время, которого уже нет. Таким же образом было устроено время древнего Египта: когда умирал фараон, время его царствования не заканчивалось, оно продолжалось в культе, который поддерживали его жрецы. То есть на трон всходил новый фараон, начиналось новое время царствования, в котором жил весь народ, а небольшая группа жрецов продолжала существовать в прошлом времени ушедшего фараона. Так наслаивались друг на друга «годовые кольца» этой культуры.

Культура – это память. Память социума. Без этой памяти люди не отличаются от животных. Человек есть то, что он помнит. Или то, чему его научили те, которые помнят. Или придумывают то, чему его учат. Поэтому кто владеет учебником истории, тот владеет будущим общества. Это потому так происходит, что в человеческом мозгу нет харддиска – мышление и память не разделены, у человека есть только оперативная память. Поэтому те, кто созидает культуру, на самом деле созидают общий харддиск для мозга всех обитателей этой культуры. Каков этот харддиск, таков и человек. Поэтому в разных культурах люди совершенно различны, чтобы там ни придумывали сторонники мультикультурализма. В разных культурах разное время и различная память, поэтому «столкновение цивилизаций», о котором писал Хантингтон, неизбежно и неустранимо. В нем и заключается содержание истории.

Войны приводят к рассеянию культур, к переписыванию харддисков, причем переписывают их победители. И выход из этого колеса «сансары» только один – просвещение. Просвещение – это и есть «обратная задача рассеяния», которую все никак не может решить человечество, потому что задача эта некорректна. А некорректна она потому, что решать ее берутся люди, с детства прикованные к своему харддиску и не слишком доверяющие собственному уму. Поэтому мы продолжаем жить в старческом рассеянии, пытаясь в потоке времени держаться за предрассудки своего времени. Пока милосердный Альцгеймер не освободит нас от них.

История нас ничему не учит, потому что имя ей – амнезия. А имя познания – анамнезис. Имя это вспомнил для нас великий Платон.

*«Что-то с памятью моей стало,
То, что было не со мной, помню»
(Роберт Рождественский)*

Солнце поднялось уже довольно высоко и тени кипарисов спрятались за камнями по бокам дороги. Дом, который я искал, ничем не выделялся среди других афинских домов: беленые стены, синие ставни и дверь.

Я решительно постучал. Через несколько минут за дверью послышались шаркающие шаги, бормотание и покашливание. Дверь открыл нечесанный раб в замызганной тунике и с всклокоченной бородой.

- Чего надо? – на меня пахнуло луком и крепким перегаром,

- Я к Платону,

- Не велено никого пускать, - скороговоркой просипел раб, - господин еще спит,

- Наверное всю ночь писал свои диалоги? - льстиво спросил я,

- Ага, всю ночь... демонстрировал гетерам свой эйдос. Симпозион у нас был, вот только утром все разошлись... нет покоя от вашей философии ни днем, ни ночью...

- Эй, сын Ехидны, ты с кем там болтаешь? - раздался громкий голос из глубины дома,

- О, проснулся, - буркнул раб и громко произнес через плечо, - К тебе тут пришел... философ, наверное,

- Веди его сюда, и подай вина, - послышалось распоряжение,

- Подай, подай... ни днем, ни ночью..., - бормоча себе под нос, раб повернулся ко мне спиной и пошел на кухню. Я шагнул в темноту прихожей и пошел на свет в конце коридора. Там была дверь, ведущая в маленький внутренний дворик, весь спрятавшийся в тени огромной смоковницы. Под ней на лавочке сидел крепкий старик лет шестидесяти в тунике. Перед ним на столике были разложены свитки папируса и писчие принадлежности. Я остановился на подчтительном расстоянии, поклонился и произнес:

- Хайре, мудрейший!

- Не называй меня «мудрейшим» - мудрейшие были до нас. Пифагор, Гераклит, Сократ – вот это действительно мудрейшие. А я – только память о них,

- По-моему ты излишне скромн, Платон,

- Жизнь научила меня главному – мере. Ты видел статую Афины в Парфеноне?

- Видел,

- А маленькую фигурку Ники на ее ладони, помнишь?

- Помню,

- Так вот, я так же мал перед этими мудрецами, как Ника перед Афиной. И они так же держат меня на своих ладонях,

- Они для тебя являются эйдосами?

- Можно и так сказать - ты прав. Как твое имя?

- Менон,

- Что привело тебя ко мне?

- Твой анамнезис,

- А именно?

- Ты утверждаешь, что познание есть припоминание? Можешь ты меня убедить в том, что это именно так?

- Попробую. Скажи, Менон, когда ты размышляешь о каком-то предмете, ну например о птице, как ты это делаешь?

- Как? Я думаю о той птице, которую вижу или вспоминаю тех птиц, которых видел раньше,

- Вот! Ты и произнес искомое слово – «вспоминаю». Нет такого предмета, о котором бы мы могли размышлять, не пробуждая в уме воспоминания о нем, или о его отношениях с другими предметами. Можно сказать, что размышление есть комбинирование воспоминаний. И новое знание – это результат новой комбинации тех знаний, которые уже существуют в уме.

А ведь найти знания в самом себе - это и значит припомнить, не так ли?

- Будь добр, приведи пример такой комбинации,

- Вернемся к нашей птице. Ты знаешь, что такое лодка, и теперь комбинируешь это знание с знанием о полете птицы. Птица использует ветер при помощи крыла. А если крыло присоединить к лодке?

- Получится парус!

- Вот видишь, ты совершил комбинацию воспоминаний. Так не следует ли нам смело пускаться в поиски и припоминать то, чего мы сейчас не знаем, то есть не помним?

- А кто этот Я, который припоминает или совершает комбинацию воспоминаний?

- Я – это мое самое первое воспоминание в жизни. Оно, конечно, очень примитивно, но потом на него наслаиваются новые впечатления и новый опыт их комбинирования, и мое Я становится сложнее, - как качан капусты сложнее кочерыжки, или луковица сложнее ростка в ее середине

- Ну а на что наслаивается самое древнее Я?

- Не в те ли времена, когда ты еще не был человеком?

- В те самые,

- На эйдос твоего Я, который представляет собой комбинаторную активность в чистом виде,

- Например?

- Например, комбинация частей пищи, которую ты съел, чтобы из нее получились части твоего тела. Об этом нам многое мог бы поведать мой друг Аристотель, который знает о животных все,

- Он тоже приобрел это знание воспоминанием?

- Нет, он изучает животных в природе, а потом комбинирует чувственные воспоминания о них. Так он пытается нащупать эйдос животного по его многочисленным воплощениям в реальных животных. То чем он занимается это теория, то есть исследование и наблюдение,

- Ты, я вижу, не одобряешь его занятий?

- Я думаю, что это не дело философа. Философ призван к анамнезису эйдосов. Тот, кто вспомнит эйдос, тот узрит истину и без опытов в подлунном мире. В это время из дома вышел раб с кувшином вина в одной руке и двумя кратерами в другой. Он поставил кувшин на бумаги, разложенные на столе и начал расставлять чаши,

- Куда ты ставишь мокрый кувшин, идиотос!, - закричал Платон,

- Даже если твои записи пострадают, ты вспомнишь все снова, ведь эйдосы останутся неповрежденными, - невозмутимо ответил раб, и налил нам вина, Платон расхохотался.

- Вот смотри, Менон, в этом доме никто не может укрыться от философии! Выпьем за нее!

И мы подняли наши чаши, немного плеснув в сторону - богам...

*«Человек закован в свое одиночество
и приговорен к смерти»
(Лев Толстой)*

Ум наш похож на сужающуюся воронку, хвостом своим уходящую в прошлое. И если память верхних уровней этой воронки можно объективно проверить, хотя бы спросив о тех событиях кого-нибудь из свидетелей, то память ее основания и

проверить-то не у кого – нету в живых современников тех событий. Поэтому решать «обратную задачу рассеяния» означает погружаться в пропасть одиночества. Правильно говорят, что одиночество – самый верный признак старости. Я со священным трепетом взираю на артиста Зельдина, который отметил недавно свое столетие. Каково ему там, в основании этого столетия? Ведь он единственный, кто еще хранит в себе то время. То есть весь мир 20х годов 20го века с его миллионами населения, с его пейзажами и запахами сжался до памяти одного единственного человека – его больше нигде нет, кроме как в Зельдине! Зельдин – это абсолютное одиночество того времени!

Так одинок только Бог. Поэтому, старея, мы приближаемся к Богу. Наше прошлое становится неотличимо от вечности, когда уходят из жизни все наши современники. И память об этом прошлом становится неотличима от нашей фантазии об этом прошлом – миф замещает реальность. Старики живут в мифическом мире прошлого. Миф о прошлом представляет собой ту ось, на которую наматываются воспоминания позднейших времен. Они как матрешки охватывают собою ту священную пустоту, тот Атман нашей личности, которые и составляют природу нашего Я. Именно это Я собирает «камни Экклезиаста», возводя вокруг себя собор смысла прожитой жизни.

Со стороны чужой Атман выглядит пустотой. Как в известном романе Пелевина «Жизнь насекомых» герой видит трухлявый пенёк с гнилой водой в середине его, а вокруг – мириады насекомых, спешащих к нему, как к алтарю, как к своей святыне. Но ведь еще святой Дионисий Ареопагит сказал, что Бог не обладает бытием. Как и память не обладает бытием – это всего лишь воспоминания о том, что было. Бытием их наполняем мы своей верой в то, что все было именно так, как мы помним. Эта вера может превратить личного Атмана в коллективного Брахмана и тогда безвестный иудейский проповедник становится Богом человечества, дающим смысл будущему его существованию. Как это у Пастернака:

«К Нему на суд, как баржи каравана,
Столетия поплывут из темноты».

Глава шестая: «Метаморфозис»

1

*«Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по старому,
Преображение Господне.»
(Борис Пастернак)*

Натужно рыча, наш маленький фиат преодолевает последний виток серпантина и выползает на площадку паркинга на вершине горы Пантократор. Это самая высокая

гора на острове Корфу. На ней расположен маленький монастырь Преображения Господня. Вершина голая как череп, покрытая сожженной солнцем травой и погруженная в голубой покой неба. В этой голубизне внизу, под нами, нежится весь остров Корфу и бесконечный простор моря, сливающийся на горизонте с простором неба. Я направляюсь к храму и застываю как вкопанный, прочитав надпись над входом: «Метаморфозис». В голове сразу возникает образ бабочки, вылетающей из своей куколки в это солнечное небо. А ведь здесь это слово обозначает Преображение, произошедшее на горе Фавор. Вот как его описывает евангелист Лука: «...дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взшел Он на гору помолиться. И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею. И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия; Петр же и бывшие с ним отягчены были сном; но, пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, стоявших с Ним. И когда они отходили от Него, сказал Петр Иисусу: Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии, - не зная, что говорил.»

Обычно обращают внимание только на то Преображение, которое произошло на горе Фавор с Иисусом. И именно оно называется по-гречески «метаморфозис». Но обратите внимание, мой читатель, на то, что там происходит с апостолами. Эти три галилейских мужика спросонья увидев такое, испытали настоящий шок. И вот Петр в этом стрессовом состоянии говорит первое, что ему приходит на ум: «давай, мы вам тут сделаем шалашики». Почему он это сказал, что за позыв к шалашестроительству, откуда это взялось?

А взялось это оттуда же, откуда происходит позыв австралийской птички шалашника строить шалашик перед своей избранницей. Этот шалаш – настоящее произведение искусства. Причем существуют шалаша разных стилей, они заимствуются друг у друга, преобразуются. Изобретаются совершенно новые их типы и формы, с использованием все новых авангардных материалов. Не надо путать шалаш с гнездом – у гнезда есть утилитарная функция, а шалаш совершенно бесполезен – он просто красив. У него чисто эстетическая функция. И именно на нее клюет самка, отдавая предпочтение самому искусному художнику среди самцов. Так половой отбор совершил метаморфоз – «гусеница» питания и размножения превратилась в «бабочку» художественного творчества.

А ведь с человеком произошло то же самое. Тридцать тысяч лет назад вдруг возникло искусство, та самая пещерная живопись, которой мы восхищаемся по сей день. Совершенно бесполезное занятие с точки зрения Homo Sapiens, но это был уже не Homo Sapiens, а Homo Artis – человек искусства. Совершился метаморфоз человечества – «гусеница» биологической жизни породила «бабочку» культуры. Среда обитания превратилась в пейзаж, в котором только и может существовать Homo Artis. И пейзаж этот он создает на стенах «пещеры Платона», в которой с тех самых пор он и живет.

А на горе Фавор, у апостола Петра от неожиданности и испуга вдруг пробудилась родовая память о метаморфозе человечества, и он ощутил себя на мгновение не рыбаком Homo Sapiens, а художником Homo Artis.

В руках у кентуриона Крысобоя пылал и коптил факел. Он наклонился над спящим прокуратором и тихо позвал его. Пилат воздрогнул во сне и резко открыл глаза.

- К вам начальник тайной стражи, — спокойно сообщил Марк.

- И ночью мне нет покоя. О, боги! Зовите его — прочищая горло кашлем, приказал прокуратор и стал босыми ногами нашаривать сандалии. Пламя заиграло на колоннах, застучали калиги кентуриона по мозаике. Кентурион вышел в сад. На балконе вместо кентуриона появился человек в капюшоне.

- Что еще случилось, Афраний?

- Прошу прощения, прокуратор, но я подумал, что это будет важно для Вас. Мы задержали еще одного человека, который назвался учеником Иешуа.

- Кто такой?

- Зовут его Лукас.

- Грек?

- Похоже, что так.

- Разве среди его учеников были и греки? А впрочем, он говорил по-гречески, так что... Приведи сюда этого грека.

- Слушаю, прокуратор, — ответил я и стал отступать и кланяться. Когда глубокая тень колонны скрыла меня целиком, я незамеченный никем остался стоять на балконе и слушать. На балкон вступил коренастый, бородатый человек. Шел он чуть вразвалку, как будто под ним была шаткая палуба, а не мраморный пол. За ним возвышалась фигура кентуриона. Этот второй, поймав взгляд прокуратора, тотчас отступил в сад и скрылся.

Пришедший незнакомец, лет тридцати, был одет бедно, но держался с достоинством знающего себе цену человека. Кожа его была навечно пропитана загаром и ветром.

- «Моряк», - подумал Пилат и заговорил по гречески:

- Ты моряк?

- Я врач, но долго плавал судовым врачом, так что наверное моряк.

- Врач? – удивился Пилат, - А Иешуа тоже был врач?

- Нет, он был больше, чем врач - он человек был в полном смысле слова.

- Человек? Что значит «человек»? Вот Марк Крысобой тоже человек, но только страшный. Каждый какой-то человек.

- Я тоже так думал, пока не услышал его впервые в Копернауме. Услышал и не смог уйти от него.

- Что же ты услышал?

- Истину.

- Что такое истина?

- Это он, Иешуа Га-Ноцри...

- Сядь, - молвил Пилат и указал на кресло, - И объясни мне, что ты имеешь в виду. А то я пытался прочитать записи некоего Левия Матвея и ничего не понял. По-моему это совершенный бред.

- Не удивительно - он же сумасшедший, этот Левий Матвей,

- А ты, ты не сумасшедший?

- Врач не может сойти с ума – врачи слишком циничны для этого.

- Да, ты не похож на слабоумного. И производишь впечатление образованного человека. Тогда поясни свое странное высказывание.

- Если ты, прокуратор, читал великого Платона, то должен знать, что все мы носим в себе истину об эйдосах, среди которых обитала наша душа до рождения. Надо только вспомнить ее. И тот, кто сможет ее вспомнить, сам станет истиной. И тогда всякое слово, исходящее от такого человека, тоже будет истиной. А сам он будет истинным человеком,

- И таким человеком был Иешуа Га-Ноцри?
- Именно таким он и был.
- И именно это он имел в виду, называя себя «Сыном Божьим»?
- Да, прокуратор.
- Ну, Каифа, ты еще пожалеешь..., - прорычал Пилат, ударив кулаком по подлокотнику кресла. Лицо его передернулось, как от боли. Помолчали, потом Пилат спросил:
- Скажи, Лукас, вот он всех называл «добрый человек». Даже Марка Крысобоя. Что он имел в виду?
- Тут слово «добрый» не совсем подходит. Скорее по-гречески будет верно «калос антропос», то есть прекрасный человек. Он видел в каждом замысел Бога о человеке, а не то, чем этот человек является сейчас.
- И что же собой представляет человек в этом божественном замысле?
- Бабочку.
- Ты шутишь? – Пилат нахмурил брови.
- Нет, прокуратор. Это образ, который позволяет лучше понять мысль. Если бы с гусеницами не происходила эта метаморфоза в бабочку, мы бы считали гусениц просто червями. А так мы знаем, что они не черви, что они тоже в каком-то смысле бабочки,
- Бабочка-Каифа, бабочка-Иуда, - усмехнулся Пилат, - Нет, не могу представить.
- Я видел Иешуа и мне этого достаточно, чтобы поверить в то, что это действительно так.
- Ты тоже записывал за ним как Левий Матвей?
- Нет. Я зарисовывал.
- Как это?
- Я немного художник.
- Покажи! – Пилат нетерпеливо протянул руку. Лукас вынул из-за пазухи свиток пергамента и дал его прокуратору. Пилат взял его, развернул, расстелил между огнями и, щурясь, стал изучать сделанные чернилами зарисовки. Он сразу узнал фигуру Иешуа среди каких-то людей и лодок на берегу озера, потом его же, сидящего под деревом, потом портрет в пол-оборота. Он вернул пергамент Лукасу:
- Ты, как я вижу, книжный человек, и незачем тебе, одинокому, ходить в нищей одежде без пристанища. У меня в Кесарии есть большая библиотека. Она будет в твоём полном распоряжении, будешь сыт и одет. Я уже предлагал это Левию Матвею, но он отказался. Но ты не спеши с отказом – я хочу заказать тебе его портрет. Я заплачу за него хорошую цену.
- Тридцать тетрадрахм?
- Ненавистный город – уже все все знают! - пробормотал прокуратор и передернул плечами, как будто озяб, - По-моему ты путаешь меня с первосвященником. Я знаю цену истинному таланту художника.
Лукас молчал, опустив глаза.
- Кроме того, этот Левий Матвей взял у меня пергамент и видимо собирается писать о вашем Учителе. Я боюсь он там напишет какую-нибудь глупость. Ты мог бы у меня в Кесарии спокойно написать о нем то, что ты знаешь, чтобы в будущем не возникло путаницы, которой он так опасался,
- Я врач, а не писатель.
- А Левий Матвей что писатель, он вообще бывший сборщик податей, да еще и сумасшедший? Не вижу причины, чтобы врач не мог стать писателем. Вот если бы писатель захотел стать врачом, тогда бы действительно случилась беда. Ну, как тебе мое предложение?
Лукас пристально посмотрел Пилату в глаза и сказал:
- Я принимаю твое предложение, прокуратор.

- Ну вот и договорились, - облегченно вздохнул Пилат и крикнул:

- Марк!

На балкон вышел кентурион Крысобой.

- Марк, отведите моему гостю комнату и накормите его. Завтра пополудни выступаем в Кесарию. Подготовьте солдат.

Кентурион молча поклонился прокуратору. Лукас тоже поклонился, и они вышли с балкона.

Прошел час. Теперь тишину рассвета нарушал только тихий шум шагов часовых в саду. Луна быстро выцветала, на другом краю неба было видно беловатое пятнышко утренней звезды. Светильники давным-давно погасли. На ложе подложив руку под щеку, спал пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат.

3

*«Смерть можно будет побороть
Усиьем Воскресенья»
(Борис Пастернак)*

Почему египтяне мумифицировали покойников? Просто они верили в метаморфоз. Они создавали «куколку», из которой должна была вылететь «бабочка» души. Иудеи переняли у египтян эту идею погребения. И однажды «бабочка» вылетела, оставив пустые погребальные пелены своей «куколки». Сейчас мы называем их «Туринской плащаницей». А само событие метаморфоза мы празднуем каждый год в воскресенье первого полнолуния весны. Это событие - аванс человечеству. И напоминание о том, кто мы и к чему мы призваны на этой планете. В этот день мы поднимаем голову от повседневной похлебки и с надеждой вопрошаем всех: «Христос воскрес?» А нас успокаивают: «Воистину воскрес!».

Воистину метаморфозис! – вот человеческое измерение Пасхи. Их мало – совершивших свой метаморфоз, но они - иконы человечества. Вот, например, живет среди нас некий Хоукинг. Хоукинг – это «куколка», приколотая к инвалидной коляске. У него нет даже своего голоса. Но Хоукинг это «бабочка духа». Это ум человека, который в результате метаморфоза стал умом нашей планеты. Когда мы привычно говорим, что «человечество знает», то это означает на самом деле, что только Хоукинг это знает. Потому что большая часть человечества, даже так называемого «цивилизованного», живет жизнью «гусеницы» и до сих пор уверено, что Солнце вращается вокруг Земли.

Такой ум для остального человечества – это «бабочка Лоренца» и «бабочка Бредбери». «Бабочка Лоренца» взмахом своих крыльев в неустойчивом состоянии атмосферы может вызвать бурю. Для человечества это означает радикальный поворот в его мышлении в ответ на мысль одного человека. А гибель «бабочки Бредбери» может обернуться исчезновением целых цивилизаций в будущем человечества. Вот что такое Пасха человечества – это надежда на то, что «бабочка Лоренца» не станет «бабочкой Бредбери»:

- Христос воскрес!

- Воистину метаморфозис!

Глава седьмая: «теорема Перельмана»

1

*«Мир ловил меня, но не поймал»
(эпитафия Григория Сковороды)*

Во сколько бы раз память интернета ни превосходила память отдельной человеческой головы, ни одна новая идея не может родиться в интернете. Новые идеи рождаются только в отдельной человеческой голове. И происходит это только когда голова обособлена, отъединена от коллектива других голов. Только в одиночестве ума рождается новая мысль. В тусовке мейнстрима мыслители не выживают. Так можно было бы сформулировать суть «теоремы Перельмана», если бы она в действительности существовала.

Теоремы такой нет. А Григорий Перельман есть. Это единственный лауреат Филдсовской премии, который от нее отказался. Математический схимник и затворник. Он закуклился в тиши уединения и невидимый никем вылетает из своей куколки в неведомое толпе пространство платоновских идей. Там он представитель всех нас, мозг которых не орган мышления, а орган выживания двуногой голой обезьяны. Благодаря ему, там нас считают разумными существами. Он наш заступник и спаситель в мире интеллекта. Но для этого он должен был отвергнуть наш мир выживания, а мир в ответ должен был объявить его чудачком и маргиналом. И объявил. Но отменить поступок Перельмана невозможно – этот поступок и является доказательством правильности теоремы его имени.

Нельзя сказать, что только в начале XXI века появился человек, подмонстрировавший миру эту странную логику человеческого ума. Это ведь всегда было – от Иисуса Христа до Оливера Хевисайда. А еще раньше эту теорему доказал своей жизнью и смертью Сократ, которого дельфийский оракул объявил еще при жизни мудрейшим человеком на Земле.

2

*«Я счастлив, что эту ночь я проведу
в беседе... за чашею... и с вами.»
(Эдвард Радзинский «Беседы с Сократом»)*

В темнице просыпается Сократ. Он садится на ложе и некоторое время пытается понять, где он находится. Потом понимает и улыбается. Его тюрьма окрашивается светом восхода. Входит тюремщик:

- Уже проснулся? А к тебе гость,

Из-за спины тюремщика выходит коренастый широкоплечий юноша и бросается к Сократу:

- Учитель! Почему, почему ты не смог защитить себя на суде? Ведь это всего лишь невежественная толпа. Почему твоя мудрость оказалась бессильной перед ней?
- Во-первых, не «учитель», ибо у меня нет ни учеников, ни поклонников. Если бы у меня были ученики, я был бы богат как гетера Гарпия, которой стадо поклонников заменяет стадо баранов. А во-вторых, именно потому, что это был афинский охлос, мой ум и оказался бессилён,
- Как это понять?
- Дельфийский бог назвал меня мудрейшим именно за то, что я знаю, как мало значит моя мудрость. Скажи, Платон, может ли что-то дать человеку речь на языке, которого он не понимает?
- Нет, конечно,
- А что такое мудрость, как не язык, на котором беседуют мудрецы и боги? И что такое этот язык для невежд? – Просто раздражающее жужжание мухи. Я и так всю жизнь надоедал афинской толпе своими беседами и беспокоил их своими сомнениями. Я жил, как овод, который все время пристает к коню. А это опасное занятие – беспокоить животное. Ибо конь, однажды проснувшись, может пришибить ударом хвоста надоедливого овода. Вот он и проснулся вчера на суде и пришиб меня,
- Сократ, нельзя допустить, чтобы совершилась эта трагедия. Выслушай меня, пожалуйста. Я вчера вечером говорил с архонтом Фрасибулом, ты знаешь, он мне родственник. Он тоже сказал, что казни нельзя допустить,
- Что же он сказал, интересно? Можешь мне рассказать поподробнее?
- Он сказал, что ты в Афинах мешал всем. Умным, потому что многое из того, что приходило в голову тебе, приходило в голову и им. Но они молчали. А если кто-то молчит, ему совсем не нравится, когда говорит другой... Ты мешал глупым – они тебя не понимали... Ты мешал тем, кто не верит, потому что требовал веры... Ты мешал тем, кто верит, потому что их раздражала твоя вера, которую надо все время проверять сомнением – истинна ли она,
- Браво, Фрасибул, верно сказано!
- Еще он сказал, что мудрейшие и почтенные афиняне в беседах с тобой чувствуют себя глупцами, а это раздражает. Можно, конечно, отнестись к этому с юмором и добродушием. Но юмор и добродушие – удел благополучных времен. А Афинский народ обозлен войной и поражением. Нервы у людей сдают. Кроме того, можно легко домыслить, что Сократ ставит человеческий разум выше афинских богов. А было бы очень полезно именно сейчас, в это нелегкое время, поддержать наших богов. Защита святых всегда дисциплинирует и поднимает авторитет. А в наше нелегкое время...
- ... заметь, Платон, каждый раз, когда нужно совершить подлость или злодейство, люди оправдываются ссылкой на «нелегкое время», на чрезвычайные обстоятельства. А если подумать: были ли в истории Афин когда-либо такие времена, которые нельзя было бы назвать «нелегкими»?
- Не было, Сократ, ты прав. Фрасибул еще сказал, что в Афинах сожгли сочинения Протагора, изгнали Анаксагора, объявили безбожником Диагора. Если теперь еще казнят Сократа, то в глазах всех эллинов Афины перестанут быть городом мудрецов, и это будет иметь далеко идущие политические последствия,
- Правильно мыслит архонт Фрасибул,
- Поэтому он одобрил план твоего спасения. Мы подготовили твой побег, Сократ. Ты наденешь сейчас мое платье. Я останусь здесь вместо тебя. Ты отправишься в Фессалию, по пути тебя ждут со свежими лошадьми все твои ученики,
- ... Нет, Платон, я не побегу в Фессалию. Я останусь здесь,
- Но почему, Сократ?

- Потому что я вынес свой приговор Афинам. Ты думаешь, что вчера это они осудили меня? Это я осудил Афины! Я осудил Афины на вечные муки совести. У убийц и у убитых ими – одна судьба. Если чтут убитого, обязательно помнят убийцу. Значит, куда буду бессмертен я – будет бессмертным и их сокрушение о содеянном. А о моем бессмертии позаботишься ты, Платон,

- Я? Это не под силу даже богам-олимпийцам!

- Но ты же поэт, Платон?

- Да, всего лишь поэт,

- Вспомни как Аристофан изобразил меня в своей комедии. Вот и ты напиши о Сократе и его беседах на улицах Афин. Уверю тебя, что афиняне захотят прочитать твоё сочинение, потому что стоит убить глаголющего истину, и тотчас людей охватывает любопытство к его вере и уважение к ней. Потому что нет ничего прочнее и притягательнее того, за что пролита кровь. Так, убив меня, они не смогут избавиться от меня,

- Я сделаю это, учитель, клянусь Афиной!

- Вот и славно. А я в это время буду наслаждаться беседой с Орфеем или Гомером, с Пифагором или Гераклитом – это ли не награда за все мои труды на благо родного полиса! А для тебя, Платон, у меня особый подарок: я хочу, чтобы после моей смерти к тебе перешел мой Даймон. Он жил рядом со мной в одном теле. И это он мучил меня, задавал вопросы, на которые всем хорошо известны ответы, а ему – нет. И оттого я – здесь, в тюрьме, а ты пришел сюда ко мне. Я никогда не мог от него избавиться. Надеюсь, что и тебя он не покинет до конца твоих дней. Тогда ты станешь настоящим философом,

- Благодарю, тебя Сократ.

Тюремщик (заглядывая):

- Пора!

Платон поднимается, на глазах его блещут слезы. Входит тюремщик с чашей. Ставит чашу на ложе Сократа. Сократ берет ее, поднимает и произносит:

- Пью за разум! За то, чтобы не погас его светильник в этом народе. Чтобы демократия не стала властью толпы, а смогла породить аристократию просвещенного ума!

Сократ выпивает залпом чашу и падает на свое ложе. Тюремщик наклоняется над ним. Сократ открывает на миг глаза, с ужасом смотрит на тюремщика и произносит хриплым шепотом:

- У тебя страшные глаза – глаза жреца, а не философа!

*«... мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден...».
(Белла Ахмадулина)*

Все как-то не обращают внимания на то, что в Книге Бытия упоминается не «древо познания», а «древо познания добра и зла» – это не древо знания, а древо идеологии. Что такое идеология? Это политика, смешанная с этикой. Это когда то, что нам не выгодно, мы называем «злом», а то, что выгодно – «добром». Блаженный Августин еще в полторы тысячи лет назад написал об этом: «Человек так возлюбил истину, что все,

что он любит, он почитает истиной». Вот это и был конец Рая. И никто человека из Рая не изгонял, просто Рай кончился. Рай распался на то, что было назначено добром и на то, что было назначено злом. И началась история, то есть противный человеческому естеству процесс переназначения добра и зла, и борьбы между ними под знаменем морали. А под этим знаменем ум человеческий умолкает, потому что вокруг «добра» в борьбе со «злом» сплачивается посредственность. Умственная лень при этом называется принципиальностью и нравственным выбором.

Тьма опустилась на мой родной город. Тьма объяла умы моих земляков. Мы живем в предвоенное время, когда инакомыслие осуждается, наказуется и истребляется. Последнее - это уже сама война. Мои друзья разбрелись по партиям и батальонам. Страх и моральный восторг сплачивает их в коллективные существа с коллективной ответственностью и коллективным разумом, который называется идеологией. Это конец человеческой свободы и человеческой разумности. Это начало войны.

Рай закрыт – все ушли на фронт. Некому больше заниматься делом Адама – называть вещи своими именами. Только я, одинокий старик, остаюсь в раю.

Глава восьмая: «Наше всё»

1

*«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий
о судьбах моей родины,- ты один мне поддержка и опора,
о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»
(И.С. Тургенев)*

«Вначале было слово». А значит, вначале был язык. Потому что Адам в Раю создавал вторую реальность – символическую реальность языка. Язык ведь это не просто способ кодирования мыслей. Язык – это сам Мыслитель, который использует для озвучивания своих мыслей нас, носителей этого языка. Язык высказывается через людей, как живая клетка «высказывается» через молекулы, возникающие и распадающиеся в ней. Не мы используем язык, а он использует нас для своей жизни.

Точка роста языка – это поэзия. Можно сказать, что язык прирастает поэтами. В этом смысле поэт – это пророк языка. Поэтому Бродский считал поэта высшей формой развития Homo sapiens-а, которую он назвал Homo poeta. Язык развивается от примитивного состояния родового сленга, до произведения изобразительного искусства, которым можно выразить тончайшие нюансы человеческой мысли и чувства. При этом каждый развитый язык отличается от остальных своим строением: в одном слова просты, но синтаксис их отношений сложен, в другом, наоборот, слова сложно сконструированы, а синтаксис сводится к примитивной логике. Язык – это та реальность, в которой обитает человек. Можно сказать, что язык это искусственный пейзаж или национальная «пещера Платона» для его носителей. Поэтому язык задает форму поведения и форму восприятия мира человеком.

Так, русский язык пластичен как амеба - своими префиксами и суффиксами он лепит из обычных слов самые сложные символы. Более того, он способен облепить и переварить любое иностранное слово, которое в обрамлении родных приставок, суффиксов и окончаний быстро становится «обрусевшим». Русский язык символичен, но не операционален, как например, английский язык. Именно поэтому английский язык порождает науку, но он слаб в метафизике и мистике. Но русский язык и слабо структурирован, в отличие от немецкого, который легко плодит философские системы – это язык гносеологии. А русский язык – органичен. Если английский язык высказывается наукой, немецкий – философской системой, то русский – художественным произведением.

Как только ни бранили нашу великую литературу XIX века за то, что она у нас была и философией, и политикой, и наукой – все это дескать от неразвитости, от примитивности русского ума. Испытывая острый комплекс неполноценности перед продвинутыми европейцами, мы старались рассуждать как немцы и думать как англичане, но от литературоцентризма наша культура никуда не ушла. Наконец в XX веке явился Бахтин и объяснил нам, что для нашего языка органической формой его существования является не теория, и не система, а диалог. Да, тот самый принципиально нескончаемый русский разговор на кухне за столом с правильной закуской, который мы все практикуем, но которого почему-то стесняемся перед образованными иностранцами. Русская выпивка – это род причащения, это совместный переход в измененное состояние сознания, в котором мы раскрываем значение и смысл символов нашего языка. Как говорил знаток родного языка Венедикт Ерофеев: «С этим человеком есть, о чем выпить»!

Русская литература – это и есть русская философия.

2

*«Пушкин – наше всё...»
(Аполлон Григорьев)*

Море медленно слизывало пену с губ дикого Никитского пляжа. Шорох камушков, догоняющих волну, убаюкивал. Остро пахло йодом и солью. Солнце равномерным жаром заполняло тело и голову. Передо мной стоял раскрытый этюдник, я писал маслом скалу, которую до меня уже нарисовал Левитан. Я никак не мог понять, как он писал тени красным? Моя скала вся была погружена в сине-фиолетовую дымку. Вдруг за спиной раздался голос:

- Прошу прощения, сударь! Не подскажите ли, как называется эта местность?

Я оглянулся и внутренне ахнул. Передо мной стоял, опираясь на щегольскую трость с круглым набалдашником, молодой человек в широкополой сломенной шляпе, красной рубахе навыпуск и шароварах, заправленных в дорогие сапоги. Лицо его показалось мне удивительно знакомым. В голове почему-то мелькнуло «Абама». И я сразу понял кому принадлежат эти веселые и наглые голубые глаза – только бакендардов не хватает. Пушкин! Я стал лихорадочно соображать: «Пушкин! Да, он же тут был в Гурзуфе у Раевских, когда?, в 1820 по-моему, что он тогда уже написал? «Евгения Онегина» – по-моему еще не начинал, а вот «Руслана и Людмилу» уже написал, наверное...» Я изобразил вежливость в лице и как можно лбезнее ответил:

- По-гречески Ай-Никита.

- Не здесь ли находится Никитский ботанический сад?

- Здесь. Вон там прямо за поворотом начинается дорога, которая Вас выведет ко входу в ботанический сад.

- Благодарю Вас, сударь. Позвольте представиться: Александр Сергеевич Пушкин, чиновник по особым поручениям канцелярии генерал-губернатора. Живу на даче генерала Раевского в Гурзуфе.

Я картинно всплеснул руками:

- Боже мой, Пушкин! Великий русский поэт!

- Приятно слышать, что и в этом краю мои стихи читают, - светски усмехнулся он, - С кем имею честь?

- Игорь Юрьевич Кобзев, чиновник по особым поручениям канцелярии наместника Богемии и Моравии, - раскланялся я.

- Как? Вы австриец? – в его глазах зажегся огонек интереса.

- И да и нет. По подданству австриец, а по происхождению русский – окончил Императорский харьковский университет по физико-математическому отделению.

- А здесь, в Крыму, как Вы оказались?

- По приглашению моего университетского товарища, который служит в ботаническом саду садовником. Вот, провожу лето в этом раю, пользуясь благосклонностью его супруги, добрейшей Веры Алексеевны,

- А как же Вас занесло в Богемию?

- Любовь, Александр Сергеевич, любовь – она «держит руль нашей судьбы», как сказал Шекспир,

- Любовь... Да, это я понимаю. И уважаю. А может быть и немного завидую, - вздохнув произнес Пушкин.

- Да ведь и Вы, как говорят местные кумушки, без пяти минут жених? Вас тут уже местные сплетники с Машенькой Раевской поженили,

- Поторопились ваши кумушки. Увы, я не жених. Генерал – добрейший старик, но не безумец, чтобы отдать дочку за коллежского секретаря, да еще и ссыльного, - с грустью сказал он.

- А как же великий поэт?

- Нет такого чина в табели о рангах, любезный Игорь Юрьевич, - усмехнулся Пушкин.

- Как нет и чина «философ».

- А Вы философ? – в его голосе опять появился интерес.

- Увы, Александр Сергеевич,

- Отчего же увы, Игорь Юрьевич? Вы пишете?

- Пишу – какой же русский не пишет? С тех пор как матушка Екатерина Великая заразила нас этой графоманской страстью, каждый образованный русский предается сему тайному пороку.

- Да, «бабушка» была жутко «писучая», как она выражалась.

- Ах, до чего яркий и сочный язык был в прошлом веке. Хотя и варварский, конечно.

- Вот, вот! – Пушкин вдруг не на шутку взволновался, - Вы сейчас в самую суть попали. Не в том дело, что я стишки пописываю, а в том, что язык наш от архаизмов очищаю. Ассенизатором языка тружусь, если так можно выразиться. После Карамзина это занятие стало достойным и потребным,

- Я понимаю, Александр Сергеевич. Я даже Вам предскажу, что наши потомки будут называть свой язык «языком Пушкина».

- Эх, Ваши бы слова да Богу в уши, - вздохнул поэт.

- Я Вам больше скажу: время наше назовут не эпохой Александра Благословенного, а эпохой Пушкина.

Пушкин внезапно помрачнел и метнул в меня внимательный взгляд:

- А Вы опасный человек, Игорь Юрьевич! Это Вы говорите человеку, высланному из столицы Высочайшим распоряжением? А Вы не по полицейскому ведомству случайно числитесь?

-Ах, что Вы, Александр Сергеевич. Просто я имею дар пророчества. По крайней мере в отношении Вас.

Пушкин усмехнулся:

- Ну, ну. И что же Вы мне еще напроорочите?

- Ну, например то, что Вы скоро начнете писать роман в стихах,

- Как? Роман в стихах? Что это за странный зверь? А впрочем..., - он задумался на мгновение, - может быть в этом что-то есть. Может быть Вы и угадали... Видите ли, Игорь Юрьевич, я как раз на днях думал о том, что поэзия должна в идеале читаться как проза...

- ...То есть?

- ... Не пербивайте, пожалуйста, мне пока трудно это выразить, потому что я еще не продумал это до конца. Так вот: я думаю, что стихи, которые звучат как прозаическая речь, это признак зрелости языка. Это означает, что язык наш настолько развился и очистился от грубых и неуклюжих слов, что даже повседневная наша речь, даже просторечия, говор улиц может порождать поэзию,

- «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда», - продекламировал я.

Пушкин мгновенно оживился:

- Как, как Вы сказали? Это великолепно! Это Ваше?

- Увы, нет. Я на такое не способен. Это написала одна дама из Севастополя,

- Впервые слышу о столь умной женщине. Что за дивная земля эта Таврида, если она рождает таких женщин!

- Что Вы хотите? Крым – это же Клитор Черного моря,

- Как? Ха-ха-ха! – Пушкин заливисто расхохотался, - Это замечательно! Это тоже придумали местные дамы?

- Нет, Александр Сергеич, это мое.

- Ха-ха-ха! Теперь я вижу, что Вы действительно философ, любезный Игорь Юрьевич! Обязательно напишу это определение своему другу Вяземскому – он умрет со смеху.

- А что, Александр Сергеич, и это может стать элементом поэзии?

- И это, и это, - сазал он, вытирая слезы рукой, - Все, что ярко и точно выражает мысль, может и должно стать поэзией.

- «И щей горшок, и сам большой»? – невинно спросил я.

- Ха-ха-ха! Отлично! И это может быть стихами, я уверен в этом.

- И я в этом не сомневаюсь. Как никто теперь, после выхода Вашего «Руслана и Людмилы», не сомневается, что поэзией может быть и «избушка на курьих ножках» и «стуга с Бабою Ягой»,

- Вы читали?

- Наизусть учил, Александр Сергеич!

- Написал, а вот теперь впервые сам увидел какое оно лукоморье, где дуб зеленый. Говорят, в ботаническом саду есть дерево, которому тысяча лет. Это правда?

- Правда. Это фисташковое дерево. Но если Вы хотите посмотреть на целую рощу таких деревьев, я рекомендую Вам совершить верховую прогулку на Аю-Даг. Там, на «голове Медведя» целая роща таких тысячелетних красавцев. Наймите татарина с лошадьми – это недорого и здесь многие этим кормятся.

- Благодарю Вас за совет, охотно им воспользуюсь. Благодарю Вас за беседу и позвольте откланяться, - он приподнял шляпу и чуть наклонил голову. Я тоже поклонился:

- Всего Вам доброго, Александр Сергеич, рад был с Вами познакомиться!

Пушкин повернулся ко мне спиной и направился вдоль пляжа к дорожке, ведущей в ботанический сад. Я смотрел ему вслед. Потом что-то вспомнил и закричал:

- Александр Сергеич!

Он обернулся и вопрошающе поднял голову.

- Александр Сергеич, скажите это правда, что столичный полицмейстер запретил Вас пускать в бордели города, потому что Вы развращаете тамошних дам?

Он запрокинул голову и расхохотался:

- Правда, правда.

- Но скажите, ради бога, чем можно развратить дам из борделя?

- А все тем же! – и он, ловко просунув трость между ног, покачал из стороны в сторону ее тяжелым набалдашником. Я рассмеялся:

- Ай да Пушкин, ай да сукин сын...

3

*«все, что есть у меня, - мой язык.»
(Владимир Набоков)*

Чем отличается художественный текст от научного, публицистического? Тем, что художественный текст умнее своего автора, а научный – глупее автора. Это открытие тоже принадлежит Бахтину. Он ввел в литературоведение понятие «большого времени». Это время, в котором роман изменяет свое содержание в глазах читателей. Например, роман «Дон Кихот» Сервантес написал как пародию на средневековые рыцарские романы. Он так и воспринимался его современниками как смешная сатира. А в XIX веке Достоевский сказал об этом романе: «Это пока последнее и величайшее слово человеческой мысли», а Тургенев написал: «На Страшном суде люди смогут оправдаться перед Господом Богом, предъявив одну эту книгу». Почему так происходит, ведь текст-то остается прежним? А потому что люди меняются, но при этом они продолжают пользоваться тем же языком, на котором написан роман. Поэтому они вычитывают в этом языке смыслы, скрытые даже от самого автора в момент написания им книги.

Художественное произведение – это окно в язык. Мы вступаем в диалог со своим языком посредством художественного текста. И в ходе этого диалога на протяжении своей жизни мы постепенно усваиваем мудрость родного языка. Посмотрите, как дети требуют снова и снова читать им одну и ту же сказку на ночь. Почему? Ребенок ведет внутренний диалог с этим текстом, постепенно меняясь, взрослея, что обнаруживается в изменении его отношения к героям сказки. И взрослый человек, возвращаясь к прочитанному роману, тоже обнаруживает в себе такое изменение. Это говорит о развитии человека. Поэтому культурный человек должен перечитывать классику на протяжении своей жизни. Это способ причаститься к смыслам языка и к тем нашим предкам и потомкам, которые жили и будут жить этими смыслами. Так через нашу жизнь живет и мыслит «наше всё» - язык.

Глава девятая: «Идіотъ»

*«Человек есть нечто,
что должно преодолеть»
(Фридрих Ницше)*

Платон и Ницше – создали художественную прозу в философии. Достоевский создал философский роман в литературе. И вот в XIX веке произошла встреча литературы и философии. Ницше и Достоевский поднялись на одну и ту же вершину, на которой было написано «Бог умер». Поднимались они на нее с разных сторон – со стороны философии и со стороны литературы, то есть со стороны немецкого языка и со стороны русского языка. И дальше они пошли разными путями – путем разума и путем безумия.

Ницше принял это страшное открытие как факт, как истину и провозгласил приход Сверхчеловека, «разбивающего скрижали, разрушающего и преступающего», которому не нужен Бог. В этом заключается свобода Сверхчеловека, опирающегося на свой собственный разум. Закончил свою жизнь Ницше полным идиотом в сумасшедшем доме.

Достоевский же провозгласил свободу от открывшейся в цивилизации истины: «Если бы мне сказали, что Христос вне истины, и действительно это было бы так, то я бы остался с Христом, а не с истиной». Это позиция маргинала, которого сам Достоевский назвал «идиотом» и посвятил ему целый роман. Роман этот стал неотъемлемой частью «священного писания» нашей культуры.

Это история о философской антропологии, которая и представляет собой камень предковения для политики и культуры в XX и XXI веке. Добр или зол человек по своей природе? Вот основной вопрос антропологии. Последователи Руссо считали, что добр. Это были люди, сохранившие в XIX и XX веке идеалы эпохи Просвещения. Таковыми были и Лев Толстой, и Маркс с Лениным. Христиане и последователи Дарвина считали, что человек зол. Так думал и Достоевский, прошедший каторгу и видевший то, чего Руссо не мог себе даже вообразить.

Какая разница, добр или зол человек по своей природе? Все равно ведь будут в обществе и злые и добрые люди – кто до чего дозреет в своей жизни. А разница есть. Если природа человека есть зло (как говорят христиане) или агрессия (как говорят дарвинисты-этологи), то значит нужно с этой данностью смириться и развивать те элементы культуры и цивилизации, которые помогают терпеливо преодолевать эти человеческие свойства в каждом следующем поколении. Это значит, что главным человеком в обществе должен быть школьный учитель. Воспитание и просвещение оказываются в этом случае не просто пожеланием или модой, а условием выживания человеческого общества. Были, конечно, и откровенные злодеи, принадлежавшие к этому лагерю. Например Торквемада или Кальвин, казнившие еретиков, или папа римский Иннокентий Третий, организовавший истребление катаров под лозунгом «Убивайте всех, Господь распознает своих!». Но это были «энтузиасты идеи», идеалисты-утописты, желавшие исправить человеческую природу в течение жизни одного поколения.

А вот если природа человека добра, то достаточно просто устранить досадные препятствия, которые мешают проявиться этому добру, и тогда все обнимется в едином порыве любви и прослезятся. А это значит, что главным человеком в обществе, хотим мы этого или не хотим, обязательно становится специалист по поиску и выявлению «врагов добра». Ну и, конечно, полюс карательная психиатрия, чтобы лечить этих

врагов от их заблуждений. В самом деле, ведь только безумцы могут мешать человеку проявлять свою добрую сущность.

Но люди неблагодарны: в конце концов обязательно появится идиот, который усомнится в том, что добро действительно является добром, и восстанет против него.

2

*«Лев Толстой, как зеркало...»
(В.И. Ленин)*

Вечереет. Тень от дома наползает на яблони и черешни и приближается к стене старых ясеней, обрамляющих сад со всех сторон. Мы с женой сидим на веранде и пьем чай. Тихо. Мы молчим. Все устало от дневной жары и теперь с облегчением ожидает вечернюю прохладу. Толстой появляется неожиданно: знакомая фигура в рубашке, штанах, заправленных в сапоги, с длинной белой бородой и волчьими глазами, молодо сверкающими из-под мохнатых бровей. Он раскланивается с моей женой, потом обращается ко мне:

- Может я не вовремя? Вы скажите, я могу и в другой раз зайти.

- Нет, что Вы, Лев Николаевич, очень вовремя – я как раз подумал о том, что настало время все разъяснить и подвести итоги.

- Ну, все разъяснить нам вряд ли удастся, а вот итоги подвести – это всегда полезно, - сказал он, садясь в предложенное кресло, - Итак, какой же вопрос Вас мучает, сударь?

- Вопрос о добре и красоте. И истине! Истина – это добро или красота? Как по-Вашему?

- Я не поверю, что Вы не читали мои статьи на эту тему. А если читали, то должны знать ответ на этот вопрос. Поэтому я полагаю, что Вы придерживаетесь противоположной точки зрения, и для Вас, как и для нынешних декадентов, истина – это красота?

- Да, Лев Николаевич, я так считаю.

- Ну, ну. Это только первый шаг, сударь мой, а за ним неизбежно последует второй – *in vino veritas*, а может быть и не только *in vino*.

- Вы слишком категоричны, Лев Николаевич. Я бы хотел защитить свою точку зрения.

- Извольте, я выслушаю Вас. Если мы не утомим нашими разговорами Вашу очаровательную супругу? – и он отвесил неожиданный для его возраста галантный полупоклон в сторону моей жены. Она улыбнулась, склонив голову и опустила глаза:

- Нет, нет, что Вы, я с удовольствием послушаю Вас.

Толстой учтиво улыбнулся ей и повернул голову ко мне:

- Итак?

- Для Вас, Лев Николаевич, критерием истинного искусства является необходимость и важность произведения для нравственности. То есть, другими словами, добро. А для этого художник «не должен жить исключительно эгоистичной жизнью, а должен быть участником общей жизни человечества». Я верно Вас цитирую?

- Да, вобщем верно.

- Тогда я задам Вам вопрос: в чем разница между художественным и публицистическим произведением?

- В мастерстве художника, в красоте языка, в проникнутости чувством, которое передается и читателю, так бы я ответил.
- Но ведь мастерская статья – такая как Ваши статьи, Лев Николаевич, - она ведь тоже удовлетворяет всем этим критериям?
- Благодарю за комплимент. Ну а Вы-то сами как определите это различие?
- А я думаю, что в истинно художественном произведении вообще не должно быть высказываний автора.
- Как у Чехова?
- Как у Чехова, как у Достоевского. Для высказываний автора Достоевский изобрел «Дневник писателя», но в самом произведении он их не допускал.
- И чем же, позвольте Вас спросить, эти произведения могут служить улучшению рода человеческого, если автору заткнуть рот?
- А тем, что читатель увидит мир глазами автора – внимательно рассмотрит, быть может впервые в жизни, и пейзаж и лицо человека. Этот опыт человеческого восприятия мира может послужить очеловечиванию всей его дальнейшей жизни.
- И это все?
- А разве нужно что-то большее?
- Я всегда полагал, что нужно. Разве искусство не должно воспитывать человека?
- Смотри как понимать воспитание.
- Так, как всегда его понимали: учить человека разумному, доброму, вечному.
- А я думаю, что главной задачей искусства является открыть человека, которого потом можно будет учить и разумному, и доброму, и вечному.
- А разве человек не таков от рождения?
- Нет, Лев Николаевич, не таков. Это Вас Руссо обманул своим «благородным дикарем». Он ведь его в глаза не видел, все это он за письменным столом выдумал. А человек от рождения существо малопривлекательное: «дай» и «мое» - вот каковы начальные условия очеловечивания.
- Но воспитание и просвещение делают его существом разумным?
- Воспитание и просвещение делают его существом разумным. Но не искусство – у него иная задача.
- И по-Вашему это задача чисто эстетическая?
- Да, это задача эстетическая, но что значит «чисто»? Вот князь Мышкин у Достоевского восклицает: «Я не понимаю как можно увидеть дерево и не быть счастливым». Это несомненно человеческая реакция на красоту. И это означает, что в этом конкретном случае красота раскрыла человека. Дерево для такого человека это не тень, не польза и не кубометры дров, а божественный пейзаж, в котором человек ощущает себя частью творения.
- У Вас получается, что художник своими произведениями может только сеять красоту среди людей, но он не может возвращать посеянное. А что если, как это у Матфея, прилетят птицы и склюют посеянное, солнце спалит ростки, колючки взойдут и заглушат ростки?
- А это уже не дело художника – это дело учителя поливать и окучивать урожай,
- Вот я и забросил художество, чтобы поливать и окучивать.
- Кого? Толстовцев?
- Почему, не только. Всех читающих мои книги и статьи.
- Знаете, Лев Николаевич, я Вас очень уважаю за то, что вы не толстовец!
Он хитро взглянул на меня и снова спрятал глаза под нависшими бровями.
- Да ведь и Маркс не был, я думаю, марксистом. А Христос уж точно не был христианином!
- Я рассмеялся. А Толстой продолжал после небольшой паузы:

- Я понимаю Вашу точку зрения, но уж очень она какая-то противупобщественная, не кажется ли Вам?

- А я, Лев Николаевич, идиот.

- То есть? – брови его мгновенно взлетели и глаза округлились.

- В точном смысле греческого слова. Идиотом в Древней Греции называли человека, живущего в отрыве от общественной жизни и не участвующего в общем собрании граждан полиса. Вот я и есть такой идиот.

Толстой задумался:

- Знаете, я может быть тоже хотел бы быть идиотом, но жизнь моя сложилась иначе, и я оказался погружен в жизнь своего «полиса». А мне вообще-то кроме моей «Ясной поляны» ничего и не нужно было...

В это время на веранду вышла моя жена с тарелкой только что испеченных сырников. Она незаметно выскользнула с веранды во время нашего разговора и каким-то образом успела уже нажарить сырников.

- А я вам сырничков испекла, со сметаной. Вы любите сырнички, Лев Николаевич?

- Обожаю! Сердечно Вас благодарю, матушка!

Мы ели сырники, макая их в сметану, и запивая чаем. Толстой охал, ахал и жмурился от удовольствия. Видно было, что моей жене это доставляет большое удовольствие. Она сидела, скромно улыбаясь и разглаживая свою юбку, и как бы нечаянно, ненароком выставляла свои босые ноги из-под нее. Толстой смотрел на них не отрываясь. Видимо почувствовав это, она поднялась и, извинившись, спустилась с веранды в сад. Она шла босиком по траве к беседке. Она даже немного покачивала бедрами при ходьбе, а ветерок трепал ее юбку. Толстой не отрываясь смотрел ей вслед и бормотал:

- Ах, как это глупо, как глупо...

- О чем Вы, Лев Николаевич?

- Я вспомнил, как Софья Андреевна, устраивала мне сцены по поводу босых ног нашей кухарки. А ведь все могло быть так просто, так естественно, если бы она сама могла испечь мне сырничков. Тогда и кухарка не нужна. А все условности – как же, графиня и на кухне, как можно, что люди скажут! Вся жизнь с оглядкой на общественное мнение. Это прямо какая-то тирания условностей. И босиком ходить отказывалась – неприлично! А я ходил, думал ее переубедить, а ничего не вышло. Вы берегите Вашу супругу - она редкая женщина. Она так замечательно молчит и слушает – мне этого всю жизнь не хватало, на любое мое слово у нее двадцать своих, да ведь все глупости, а как скажешь ей об этом – обидится на несколько дней. А Ваша... Эх, за такое сокровище можно и титул и имение отдать. Так-то сударь мой, цените Вашу супругу. А тут еще и сырнички,.. и ходит босиком... Зачем Вам писать? Бросьте Вы это дело.

- А что же, только при Ксантипе имеет смысл быть философом?

- А Вы как думали? Писатель в романе ищет то, чего в своей семье не может найти. Зачем о любви писать, если о ней можно читать каждый день в глазах любимой женщины?

- Неужели и Ваши романы...?

- И мои, и мои, а как же иначе – иначе не бывает. Так-то, сударь мой...

Солнце село. Стало совсем темно. Мы с Толстым молча сидели, отхлебывая остывающий чай. Жена давно ушла в дом. Взошла луна и облила сад мерцающим ртутным светом. Соловей зашелся в сладкой истоме где-то среди яблонь. Я встал и, извинившись, сказал, что мне нужно идти к жене.

- Идите, идите, не обращайтесь на меня внимания. Я еще немного посижу здесь, мне нужно подумать о нашем разговоре. А Вы ступайте, голубчик, не заставляйте вашу супругу ждать. Поверьте мне – это важнее всего на свете!

Я спустился с веранды и через сад пошел ко входу в дом. На углу дома я оглянулся назад и увидел в ярком мертвенном свете луны фигуру сидящего в кресле старика – старика в пейзаже.

Январь – Апрель 2015

Эпилог: «Старик в любви»

*«Если я говорю языками человеческими
и ангельскими, а любви не имею,
то я - медь звенящая или кимвал звучащий.»
(апостол Павел)*

На самом деле Венеция похожа на скелет рыбы, форму которой, совсем не желая того, обретают копошащиеся на ней муравьи. Это кишение туристов напоминает Венецию, но это не Венеция. В ней нет той высокомерной веселой наглости нуворишей, которые создавали памятник своей безвкусице на века. И содали! И века объяли этот город гармонией времени. И он стал прекрасен. Таким его увидел я ранним воскресным утром, пока туристы еще спали в своих отелях и пансионатах, а мои дети уже вели меня по улицам этого вечного города.

Я спешил в церковь святого Марка, чтобы проверить то, что я написал в своем романе. Но там шла утренняя месса, и меня туда не пустили. Я только посмотрел на фрески из притвора, но к раке с мощами не смог пройти. Меня это огорчило – я ведь надеялся именно здесь поставить точку в своем романе. А потом, гуляя по площадям и улочкам Венеции, я постепенно понял, что точку в романе все-таки поставить можно. Что она появляется именно здесь, но «точка» эта не принадлежит тексту романа. Она вообще не знак, но реальный поворот в моей реальной жизни. А судьба автора, как известно, лежит уже вне его романа.

Мои дети организовали мне эту поездку в Венецию, прочитав мой роман. Они почти таскали меня на руках по городу, когда мои ноги уже отказывались ходить, а сердце заходило в загродинной боли. А я ловил себя на том, что люблюсь своими детьми, а не этим городом пошлых торгашей. И мне было хорошо в этой «Венеции», имя которой «любовь». Я понял, что я совершаю свое обратное плавание к себе и оказываюсь в пространстве обратной перспективы, образуемом направленной на меня любовью моих детей. Я понял, почему святой Марк меня не принял, - он просто повернул мои глаза в нужном направлении. И я увидел любовь. А Бог и есть любовь, как нам объяснил апостол Иоанн.

Май 2015